
Юна Ко
18+
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
Родная
Больше, чем сестра

Юна Ко
Родная. Больше, чем сестра

https://litres.ru/74902858
SelfPub; 2026

Аннотация

Надя выросла в маленькой деревне, она знает каждый уголок своего мира и любит его до боли. И ещё она любит Сашу —

соседского парня, который старше её на пятнадцать лет. Девушка давно решила: когда ей исполнится восемнадцать, она скажет ему всё. Но Саша отвергает её чувства.

В отчаянии Надя решает сбежать из дома и звонит человеку, которого почти не знает, но который предлагал ей помощь. Дядя приютил её у себя. А его сын, Юра, — красивый, дерзкий, привыкший, что девушки сами падают к его ногам, — впервые в жизни влюбляется по-настоящему. И впервые получает отказ.

Однако между ними вопреки всему все-таки вспыхивает чувство, которому оба пытаются сопротивляться. Надя всё ещё верна своей любви к Саше, а Юра скрывает тайну, способную навсегда разделить их.

Но когда то, что было скрыто, обретает голос, надежда оборачивается новой болью.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	18
Глава 3	30
Глава 4	71
Глава 5	90
Глава 6	105
Гл	121
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Юна Ко
Родная. Больше, чем сестра

Глава 1

А первый пламень был жесток,
Ума веленью непослушен.
Он грешен был, поскольку жег
Одно лишь тело, но не душу.
Освободившись от оков,
Пожар утих, и пламя спало.
Но к звону легких угольков
Душа прислушиваться стала.
Простерла добрую ладонь,
Все прегрешения простила,
Тот умирающий огонь
Своим дыханьем оживила.
Взметнулись язычки огня,
Робки и к гибели готовы.
Их так легко сейчас унять
Одним неосторожным словом.
И я к груди твоей прильну
Безмолвно и почти безгрешно,

Тихонько, чтобы не спугнуть
Чуть зародившуюся нежность.
Светлана Борзунова.

Надя

Раньше я верила во всякие глупости. Ну, например, что в этих полях обитают чудеса. Долина в низине казалась мне бесконечной, а сказочная зелена и недосягаемость внушали веру, будто на её необъятных просторах живут магические существа. Бабушка никогда не разрешала мне спускаться ниже Баобаба — так мы называли тройной дуб с могучими ветвями и пышной кроной, пустивший корни вниз по склону, вдали от других деревьев. Он видел очень много закатов — больше, чем большинство людей за всю свою жизнь, но не видел ни одного рассвета. Восток был скрыт от него взмывающим вверх бугром, на котором затерялась маленькая деревушка с незатейливым названием «Высокое», зато на запад открывался невероятный и захватывающий дух вид. Бывало я проводила долгие часы, сидя на лавочке, которую мой дедушка соорудил между двух стволов одинокого дерева в незапамятные времена, и предавалась мечтам.

Когда садилось солнце, на линии горизонта вспыхивали бусинки-огоньки, слегка подрагивающие, как капли алмазной росы на паутинке. По началу они казались робкими и очень хрупкими, в любую секунду рискующими сорваться

с кромки синего небосвода или погаснуть под плотным покрывалом ночи. Но чем сильнее на мир спускалась темнота, тем, — я очень скоро это поняла и моему восторгу не было предела, — ярче они загорались.

Сперва я думала это звезды. Малюткой я не умела толком выговаривать слова и называла звезды «иды». Выйдя поздним летним вечером на крыльцо, чтобы погладить кота или завидев первую в еще светлом небе очертившую бледные контуры звездочку, я указывала на нее пальцем и будто желая поведать об этом всему миру, громко произносила «ида», «ида!». Бабушка хорошо понимала мое детское наречие, а вот дедушке зачастую приходилось поломать голову над тем, что я пытаюсь сказать и чаще всего он растолковывал мои слова неправильно. Каждый раз когда я наблюдала в небе звезду или указывала ему на далекие таинственные огоньки, ошибочно полагая, что это цепочка из самых первых, самых ранних звезд, он брал меня в охапку и нес домой, чтобы покормить. Дедушка думал я прошу еды.

Вообще-то я не очень хорошо помню первые годы своей жизни. Воспоминания тех дней остались в моей памяти нечеткими мазками на незаконченной мозаики, целую картинку которой я собирала только благодаря бабушкиным рассказам. Практически всё что происходило со мной до трехлетнего возраста мне приходилось принимать на веру. Как, например то, что на фотографии где 17-летний Саша сидит на корточках перед нашим забором и лучезарно улы-

бается в камеру, щуря от солнца глаза, мы должны были быть запечатлены с ним вместе, но в самый последний момент, когда дедушка щелкнул фотоаппаратом я убежала, и нигде на снимке от меня не осталось даже размытого пятна. Кадр получился идеальным. Свежеокрашенный забор, цветущая сирень и невероятной красоты юноша с улыбкой доброго принца, ласкающим прищуром карих глаз и долгие годы тревожащими воображение маленькой девочки руками, с закатанными по локоть рукавами, которыми он пару мгновений до вспышки обнимал и прижимал её к себе. На самом деле они тревожат меня до сих пор… Не могу поверить, что я тогда убежала от него. Столько лет прошло, а я до сих пор не могу себе этого простить, хотя абсолютно не помню тот день.

Но вечер, когда мы с дедушкой впервые отправились к Баобабу сохранился в моей памяти с поражающей ясностью. А ведь мне не было и двух лет…

Это мое самое первое воспоминание.

Дедушка нес меня на руках, укутанную в его старую куртку, хотя вечер был теплый. От куртки пахло солнцем, древесной стружкой и чем-то терпким — кажется, машинным маслом. Я уткнулась носом ему в плечо и слушала, как под рубашкой ровно стучит сердце. Дорога вниз по склону казалась бесконечной: трава щекотала дедушке сапоги, где-то в высокой зелени стрекотали кузнечики, а над полями медленно догорал алый закат.

— Не спишь? — спросил он.

Я не ответила. Не потому, что не хотела, а потому, что все вокруг было слишком большим для слов. Впереди темнел Баобаб, и его ветви казались такими могучими, будто дерево удерживало ими весь вечер, не позволяя тому упасть за край земли. Я смотрела на него, не мигая. Наверное, тогда я впервые почувствовала, что мир не заканчивается нашим двором и знакомой дорогой к колодцу.

У дерева дедушка осторожно опустил меня на лавочку. Она была широкой и шершавой, с занозами, которые он потом ещё долго обещал зашкурить. Я вцепилась пальцами в доску и посмотрела вниз, в долину. Там, за полями, одна за другой вспыхивали огоньки — те самые, которые позже я принимала за звезды.

Я не знала, что такое город. Не знала, что огоньки в долине — это окна, фонари и вывески, а за каждым светом прячется чей-то дом, чья-то кухня, чья-то жизнь.

Мне казалось, земля просто загорается к вечеру. Далеко внизу вспыхивали желтые точки, потом рядом с ними загорались белые, красные и синие — и долина понемногу наливалась светом. Я смотрела на неё с лавочки у Баобаба и думала, что кто-то рассыпал по темноте горсть светящихся камешков.

Я не знала, что такое высокие здания. Не могла представить дома, которые поднимаются выше деревьев и будто упираются в облака. Что в их окнах зажигается множество огней, один над другим, а люди живут так высоко, что могут

смотреть на крыши соседей и наблюдать за полетом высоких птиц. Я не знала, что на стенах этих зданий бывают огромные рекламные вывески: они вспыхивают яркими буквами, меняют цвета и зовут прохожих купить то, о чем я тогда даже не слышала.

Я не знала о ночной жизни города — о шумных улицах, где машины скользят по асфальту, оставляя за собой красные полосы задних огней; о трамваях, звенящих на поворотах; о людях, которые спешат домой или, наоборот, только выходят навстречу вечеру. О кафе, где за запотевшими окнами смеются и пьют горячий чай, о музыке, доносящейся из открытых дверей, о запахах хлеба, жареного мяса и бензина, смешанных с прохладным воздухом.

Я не знала, что город никогда по-настоящему не засыпает. Даже глубокой ночью где-то гудит мотор, хлопает дверь, мигает вывеска, в окне напротив кто-то не может уснуть. А утром улицы снова наполняются голосами, шагами и спешкой, будто город каждую ночь набирается сил, чтобы начать все сначала.

Для меня он тогда был просто далекой россыпью огней.

Дедушка сидел рядом, обняв меня за плечи. Я положила голову ему на руку и смотрела, как темнеет небо. А потом один из огоньков дрогнул и будто бы двинулся в сторону Баобаба. Я протянула к нему ладонь.

— Ида, — сказала я.

Дедушка проследил за моим пальцем, но не понял куда я

указываю, потом посмотрел на меня и улыбнулся.

— Есть захотела? — спросил он. — Потерпи, маленькая. Мы еще немножко посидим — и пойдем ужинать.

Он бережно поправил на мне куртку и усадил поближе к себе. А огоньки продолжали мерцать вдали, совсем не похожие на звезды.

Затем в воздух поднялся светлячок и полетел вниз по склону — туда, к долине, к огонькам, которые я всё ещё считала ранними звёздами. Он летел медленно, то вспыхивая, то затухая, и мне казалось, что он прощается с нами.

Дедушка смотрел ему вслед, и я почувствовала, как его рука на моём плече стала тяжелее. Он молчал долго — так долго, что я успела проводить светлячка взглядом пока он не растворился вдалеке, будто его никогда и не было.

— Потерялся. — наконец сказал он, и голос у него был странный, будто он говорил не мне, а самому себе. — Знаешь, малютка, я тоже когда-то потерялся. Давно. Так давно, что ты ещё не родилась. Я ждал, что меня найдут. И меня нашли. Твоя бабушка нашла. А потом... — он запнулся, и я почувствовала, как под курткой у него дрогнуло плечо. — Потом у нас была твоя мама. Она была как светлячок. Яркая. Летела, куда хотела. Никого не слушала…

Я слушала его и не понимала. Слово «мама» было для меня пустым звуком — красивым, но ничего не значащим, как слово из чужого языка. У меня были бабушка и дедушка — и этого мне хватало. Я никогда не грустила о маме. Не потому,

что была чёрствой или неблагодарной, а потому, что мне не о чем было грустить: я её не видела, не помнила, не знала. Она была для меня чем-то вроде далёкой звезды, которая, может, и есть где-то там, на небе, но светит так далеко, что её свет до меня не доходит.

А в тот вечер я была зачарована огоньками. Они мерцали внизу, за долиной, и я смотрела на них, не отрываясь, и думала, что это гномы высыпали свои сокровища на темноту. Дедушкины слова прошли мимо меня, как ветер проходит мимо листьев: я слышала, что он говорит, но не понимала, о чём. Я не знала, что такое «не стало». Не знала, что такое «уехала и не вернулась». Я просто чувствовала, что ему больно, и прижималась к нему крепче, и это было всё, что я могла тогда сделать.

Но я запомнила. Не смысл — смысл пришёл потом, много лет спустя, когда я сама начала понимать, что такое потеря. А интонацию. То, как дрогнул его голос на слове «ждали». То, как он прижал меня к себе, будто боялся, что и я сейчас улечу. То, как долго он молчал после. Я запомнила это так, как запоминают песню на незнакомом языке: не слова, а мелодию. И мелодия эта была грустная.

Он погладил меня по голове и сказал:

— Ну всё, всё. Пойдём домой. Бабушка заждалась.

С того вечера минуло много лет, а я до сих пор его хорошо помню. Но теперь я знаю: огоньки в долине — это не звёзды, а город. Большой, шумный, живой.

Долина и эти огоньки — моё самое первое воспоминание. Мне не было и двух лет, но я помню всё: как дедушка нёс меня на руках, как пахла его куртка — солнцем, древесной стружкой и машинным маслом, как щекотала трава под сапогами, как загорались внизу первые бусинки света. Я помню даже, как стучало его сердце — ровно, тепло, надёжно. Бабушка потом говорила, что я не могу этого помнить, что в таком возрасте дети ничего не запоминают. Но я помню. Это было первое чудо в моей жизни — и оно было настоящим.

Потом, когда я подросла, я проводила у Баобаба долгие часы. Я садилась на лавочку, поджав ноги, и смотрела вниз, на долину, которая казалась мне бесконечной. Я тогда уже знала, что там, на краю горизонта, город, но в моём воображении он был не городом, а сказочным королевством. Там, внизу, за полями, будто бы стояли высокие башни с острыми шпилями, и в их окнах горели свечи, и по улицам ходили люди в красивых платьях, и где-то в самом сердце королевства гремел бал — с музыкой, танцами и запахом жареного мяса и свежего хлеба.

Я мастерила куколок из веточек и листьев — маленьких, кривеньких, с головками из желудей и платьями из широких листьев лопуха. Я сажала их в ряд на лавочке и играла в бал. Куколки у меня танцевали, кланялись, шелестели листьями-платьями, и я представляла, что они кружатся в огромном зале, где сотни свечей и где пахнет воском и цветами. Я придумывала им имена, разговаривала с ними, ссо-

рила и мирила. И сама мечтала оказаться среди них — в настоящем бальном платье, с высокой причёской, с туфельками, которые блестят, как роса на утренней траве. Я представляла, как вхожу в зал, и все оборачиваются, и музыка играет вальс, и я кружусь, кружусь, кружусь, пока не закружится голова. Но принца в этих мечтах не было. Ни разу, ни в одном сне, ни в одной игре я не представляла рядом с собой принца. Принц мне был не нужен. Потому что принц у меня уже был — по ту сторону забора, с улыбкой, от которой у меня внутри всё переворачивалось.

Я росла мечтательной девочкой, у которой фантазия била ключом, — и потому верила во всякие глупости. Например, что в этих полях обитают чудеса. Долина лежала внизу, как опрокинутое блюдо, до краёв полное зелени, — и чем дольше я на неё смотрела, тем сильнее мне казалось, что там, в этой густой, тёмной глубине, живут магические существа. Я была уверена, что там, в высокой траве, прячутся феи — крошечные, с крылышками, как у стрекоз, и с волосами, как паутинка. Они летали над цветами и оставляли за собой серебристый след. А под корнями старых деревьев, в норках, жили гномы — маленькие, бородатые, в колпаках и с фонариками, и они добывали в земле драгоценные камни, которые потом, к вечеру, превращались в те самые огоньки, что загорались в долине. Я была уверена: это гномы выносят свои сокровища на поверхность и рассыпают их по темноте, чтобы мир не был таким тёмным. Бабушка никогда не раз-

решала мне спускаться ниже Баобаба — и потому, наверное, я верила в это ещё сильнее. То, что нельзя потрогать, всегда кажется настоящим.

А когда мне было пять лет, к нам во двор прибрёл щенок. Худой, лохматый, с ушами, как у летучей мыши, и глазами, в которых отражалось всё небо. Он сидел у калитки, дрожал и смотрел на меня так, будто ждал всю жизнь. Я вынесла ему хлеба, и он съел его из моих рук, а потом лизнул мои пальцы — шершаво и щекотно. Я назвала его Клёпой. И я была абсолютно уверена, что он спустился к нам с Луны. Ну а откуда ещё мог взяться такой белый, такой лохматый и такой невероятный пёс? Я представляла, как он шёл по лунной дорожке, как прыгал по звёздам, как спускался по серебристому лучу прямо в наш двор — и выбрал именно меня. Бабушка смеялась, дедушка качал головой, а я верила. Клёпа прожил с нами двенадцать лет и умер прошлой весной. Я до сих пор иногда смотрю на Луну и думаю: а вдруг он вернулся? Вдруг он там, наверху, и теперь выбирает себе в хозяйки другую маленькую девочку?

Лишь став старше, я потихоньку начала прощаться со своими иллюзиями. Сначала перестала верить в гномов — когда узнала, что огоньки в долине зажигают люди. Потом — в фей, когда поняла, что серебристый след над цветами оставляют не крылышки, а обычные комары. Потом — в то, что Клёпа с Луны. Но прощание это было медленным, как выздоровление после долгой болезни. Я не хотела расставаться со

своим волшебным миром. Я держалась за него так долго, как могла. Потому что мне казалось: если чудес не станет, я потеряю что-то очень важное. Но чудеса не исчезли — они просто сменили облик. Деревня не стала для меня пустым местом, наоборот: я стала видеть её иначе, ближе, роднее. Дом с покосившимся крыльцом, сирень под окном, скрип половиц, запах бабушкиных пирогов, дедушкина куртка на гвозде — всё это было настоящим, тёплым, моим. Долина больше не прятала фей, но холм прятал тропинки, по которым я бегала ребёнком; в долине больше не жили гномы, но в ней жили воспоминания — и их никто не мог у меня отнять. Я любила это место не за волшебство. Я любила его за то, что оно было моим. И, наверное, в этом было больше чуда, чем во всех феях и гномах вместе взятых.

Сейчас мне семнадцать. Скоро будет восемнадцать. Но в одно чудо я до сих пор продолжаю верить… Я думаю о нём, когда просыпаюсь, когда засыпаю, и когда сижу на лавочке у Баобаба и смотрю, как загораются огоньки на кромке темнеющего небосвода. Думаю, даже когда не хочу о нём думать…

Все эти годы каждый день я мечтала, что однажды *он* посмотрит на меня не как на соседскую девчонку, а как на ту, без которой не сможет жить….

Он моя самая заветная мечта. Сколько себя помню — всегда была только она. Я хранила её так бережно, как девочки хранят первые письма, сложенные в несколько раз и перевязанные ленточкой. Я доставала её по вечерам, когда никто не

видел, и рассматривала, представляя, как однажды она станет явью. Я представляла, как он смотрит на меня иначе — не как на соседскую девчонку, не как на маленькую, а как на ту, ради которой хочется остаться. Как он берёт меня за руку. Как говорит моё имя так, что оно звучит по-новому…

Но чем ближе тот день, когда я наконец решусь сказать ему всё, тем сильнее меня мучает страх. А вдруг моя вера в него — в то, что он когда-нибудь полюбит меня, — тоже одна из тех глупостей, с которыми мне придётся распрощаться? Как с феями. Как с гномами. Как с Клёпой с Луны. Вдруг это просто ещё одна сказка, которую я придумала? Вдруг моя вера в него — в то, что мы однажды поженимся — окажется такой же глупостью, как феи и гномы, и мне придётся собирать себя по кусочкам, как я собирала когда-то своих куколок из веточек и листьев?

Я боюсь этого. Боюсь так, что иногда готова и вовсе не говорить ничего. Но потом вспоминаю его улыбку — и понимаю, что не сказать ещё страшнее.

Иногда, когда я прихожу к Баобабу и как в детстве мастерю куколок из веточек и листьев, дожидаясь, когда внизу, за долиной, загорятся огоньки, где-то в глубине души — там, где всё ещё живут феи и гномы, где белый пёс спускается с Луны, а город — сказочное королевство, — я всё ещё верю в чудо. И вера моя в то, что мы с Сашей когда-нибудь будем вместе, становится здесь, у Баобаба, сильнее и ярче — как те самые огоньки, что разгораются за долиной с наступлени-

ем темноты. Но чем старше я становлюсь, тем эта вера становится хрупче. Она уже не та безоговорочная уверенность, что была в детстве, — скорее тонкая паутинка, которую я боюсь спугнуть неосторожным словом или слишком смелой мыслью. Я держу её в ладонях, как когда-то держала куколок из веточек и листьев, — бережно, боясь смять.

Я всегда знала, что однажды, когда вырасту, скажу ему о своих чувствах. Это жило во мне не как решение, а как дыхание — тихо и само собой. Просто где-то глубоко внутри меня всегда теплилась мысль, что всё имеет смысл, пока есть он. Что утро наступает, чтобы я могла увидеть его у забора. Что лето приходит, чтобы он вернулся из города. Что я дышу — чтобы однажды, может быть, он улыбнётся мне чуть теплее, чем вчера. Чуть дольше задержится взглядом. Чуть мягче скажет моё имя…

А если этого не случится… если моя вера в него окажется такой же глупостью, как феи и гномы… тогда я не знаю, зачем всё остальное.. Зачем Баобаб. Зачем закаты. Зачем долина, полная огней.

Зачем тогда я?

Глава 2

Юра

Понедельник начинается с того, что я снова просыпаюсь не с той, с кем засыпал. Впрочем, «не с той» — это громко сказано. Я даже не помню, как её зовут. Блондинка. Или рыжая? Вроде блондинка. Красивая, наверное. Все они красивые, когда их выбираешь по фотографии. Улыбка, ключицы, длинные ноги — и вот ты уже нажимаешь «нравится», даже не вчитываясь в описание. А зачем? Всё равно через неделю не вспомнишь ни имени, ни того, о чём вы говорили.

Она просыпается раньше меня. Я чувствую это сквозь сон — она шевелится, тянется, кладёт руку мне на плечо. Сначала легко, будто проверяя, не сплю ли я. Потом смелее — проводит пальцами по шее, по затылку, придвигается ближе.

— Доброе утро, — говорит она тихо, почти шёпотом.

Я не отвечаю. Смотрю в потолок. Потолок у меня высокий, с лепниной — когда-то я думал, что это красиво, а теперь просто ещё одна деталь, которую я не замечаю.

— Ты вчера был такой… — она замялась, подбирая слово. — Необычный. Мы так хорошо провели время.

Она ждёт, что я скажу что-то в ответ. Что-то тёплое. Что-то, что даст ей понять, что это не просто ночь, что будет продолжение. Я знаю этот взгляд. Видел его десятки раз. Девуш-

ки всегда думают, что если они провели с тобой ночь, то теперь у них есть какие-то права. Что они могут остаться на завтрак. Что ты спросишь их номер. Что ты позвонишь.

— Тебе пора, — говорю я.

Она замирает. Рука на моём плече становится тяжёлой.

— Что?..

— Пора, — повторяю я, уже без раздражения, просто ровно. — У меня дела.

— Я думала, мы… — она запнулась. — Может, кофе? Я могу сварить.

Я наконец поворачиваюсь к ней. Смотрю прямо в глаза. Она красивая — правда красивая, с этими светлыми волосами, рассыпавшимися по подушке, с растерянным, почти детским выражением лица. И мне её даже немного жаль. Но только немного.

— Послушай, — говорю я, — ты классная. Правда. Но я не из тех, кто завтракает с кем-то по утрам.

Она молчит. Потом кивает — медленно, будто до неё доходит. Встаёт, начинает собирать вещи. Двигается неуклюже, задевает стул, роняет телефон, наклоняется за ним. Я наблюдаю за ней краем глаза и думаю: вот сейчас она заплачет. Ненавижу, когда они плачут. Не потому, что мне их жалко, — просто потому, что это неловко. Слёзы — это оружие, я это давно понял. Они думают, что если заплачут, то я сдамся. Не сдамся.

Но она не плачет. Одевается, накидывает куртку, берёт

сумку. Я встаю и иду за ней — не потому, что хочу, а потому, что так надо. Провожаю до входной двери, открываю, жду, пока она выйдет. У двери она оборачивается.

— Ты знаешь, — говорит она, и голос у неё уже другой, не растерянный, а злой, — ты вообще ничем не лучше, чем кажешься.

— Я знаю, — отвечаю я.

Закрываю дверь. Щелчок замка звучит громче, чем должен. Я стою секунду в прихожей, слушая тишину. Потом иду в душ.

Квартира у меня хорошая. Панорамные окна во всю стену — вид на реку, на мосты, на город, который даже с высоты двадцатого этажа кажется живым, дышащим. Полы с подогревом — приятно босиком, особенно зимой. Кухня, в которой я ни разу ничего не готовил: все эти мраморные столешницы, встроенная техника, кофемашина за триста тысяч, которая варит идеальный эспрессо нажатием одной кнопки. Гостиная с огромным диваном, на котором я в основном и сплю, потому что кровать в спальне слишком большая для одного.

Я живу здесь два года и до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что это не моё. Не то чтобы я не заслужил. Заслужил, конечно. Отец платит, но это не значит, что я не заслужил. Просто… неважно. Мысли — это трата времени.

Я принимаю душ, надеваю первую попавшуюся рубашку — впрочем, не первую попавшуюся, а ту, которая дороже

остальных, потому что сегодня встреча с отцом, — и выхожу из квартиры.

В машине я вспоминаю про вчерашнее. Клуб, музыка, какой-то парень, который полез ко мне с претензиями — что-то про девушку, про то, что я её «увёл», хотя она сама подошла. Я не помню точно, из-за чего всё началось. Помню только, как мой кулак встретился с его носом, как хрустнуло что-то, как он отлетел назад, как охранники поволокли меня к выходу.

Отец узнает. Ему всегда всё докладывают. Игорь — его человек, он везде, он всё видит. И сегодня в кабинете будет разговор. Я знаю его наизусть: «ты позоришь семью», «когда ты повзрослеешь», «я в твои годы уже…». Я могу продолжить этот монолог сам, без отца. Но всё равно поеду. Потому что если не поеду — будет хуже.

Офис отца — в центре, в стеклянном здании, где на каждом этаже висят одинаковые картины с абстрактными пятнами. Я поднимаюсь на лифте, киваю секретарше, захожу в кабинет.

Отец сидит за столом. Огромный стол, кожаный диван в углу, графин с водой, который никто никогда не трогает. Он не поднимает головы, когда я вхожу. Просто листает бумаги, будто меня здесь нет.

— Садись, — говорит он наконец.

Я сажусь. Он откладывает бумаги, снимает очки, смотрит на меня. Взгляд у него тяжёлый, как у человека, который

привык, что ему все подчиняются.

— Игорь мне звонил, — начинает он. — Вчера в клубе «Гагарин». Ты сломал нос какому-то парню.

— Он первый начал.

— Мне плевать, кто первый начал. — Голос отца становится жёстче. — Ты понимаешь, что это было на камеру? Что это уже в интернете? «Сын владельца сети строительных магазинов устроил драку в клубе». Ты думаешь, мне это нравится?

— Я не знал, что там камеры.

— Ты никогда не знаешь. — Он откидывается в кресле, смотрит на меня с презрением, которое даже не пытается скрыть. — А теперь слушай сюда. У этого парня, как выяснилось, папаша — адвокат. Не из простых. И он уже грозится подать заявление. Если он это сделает, у меня будут проблемы. Настоящие проблемы. Мне придётся нанимать юристов, договариваться, вытаскивать тебя из этого дерьма. И я, знаешь ли, устал. Устал тебя выгораживать. Каждый раз одно и то же: драки, скандалы, полиция. Я не для того строил этот бизнес, чтобы тратить его на то, чтобы мой сын не сел в тюрьму.

Он замолкает. Я смотрю в стол. Слова «устал тебя выгораживать» повисают в воздухе и не исчезают.

— Тебе двадцать два года, Юра. Двадцать два. Я в твои годы уже работал по шестнадцать часов, у меня был первый магазин, я поднимал бизнес с нуля. А ты? Что ты сделал?

Только тратишь мои деньги и позоришь моё имя.

— Я работаю у тебя, — говорю я.

— Работаешь? — Он усмехается. — Ты появляешься к обеду, уходишь в три, и половину времени сидишь в телефоне. Это ты называешь работой?

Я молчу. Спорить бесполезно. Он всегда прав, даже когда не прав.

— Если это повторится, — говорит он, — я тебя отстраню. От всего. Понял?

— Понял.

— Свободен.

Я выхожу из кабинета и иду к себе. Мой кабинет — на два этажа ниже, маленький, с окном во двор. Я сажусь за стол, открываю ноутбук, смотрю в экран. Рабочий день тянется, как жвачка.

Все меня бесят. Абсолютно все. Секретарша, которая приносит кофе и улыбается слишком широко, будто я ей что-то должен. Менеджер, который задаёт вопросы, на которые сам знает ответы. Логист, который опаздывает на встречу на пятнадцать минут и даже не извиняется. Продавец из отдела на первом этаже, который звонит и ноет про поставки. Я слушаю их всех и чувствую, как внутри закипает раздражение — медленно, как вода в чайнике. Хочется швырнуть телефон в стену. Хочется выйти и уехать. Хочется закричать на кого-нибудь.

Но я сижу. Улыбаюсь. Киваю. Потому что если я сорвусь

здесь, отец узнает. А если отец узнает — будет хуже.

К вечеру я уже на грани. Выхожу из офиса, сажусь в машину, включаю музыку на полную. Город проносится мимо — витрины, вывески, люди. Я вдавливаю педаль в пол, и скорость на секунду заглушает всё: и раздражение, и пустоту, и мысли. На секунду мне кажется, что я тоже куда-то спешу. Что у меня есть цель. Потом секунда проходит, и я снова просто еду. Быстро. Чтобы не думать.

Ночной город — это отдельный мир. Огни, огни, огни. Витрины магазинов, которые уже закрыты, но всё ещё светятся. Фары машин, которые летят навстречу. Рекламные вывески, которые вспыхивают и гаснут. Люди на тротуарах — кто-то спешит домой, кто-то, наоборот, только выходит. Кафе с запотевшими окнами, откуда доносится музыка и смех. Запахи — бензин, жареное мясо, духи, чей-то парфюм, слишком резкий. Всё это смешивается в один коктейль, который я вдыхаю с детства и не могу надышаться. Город не спит. Город никогда не спит. И я вместе с ним.

Я думаю о матери. Она сейчас, наверное, в нашем загородном доме, сидит в гостиной с бокалом вина и смотрит какой-нибудь благотворительный ужин по телевизору. Или пишет очередной пост в соцсетях о том, как важно помогать детям. Смешно. Она помогает детям, которых никогда не видела, а своему собственному сыну не позвонила за последний месяц ни разу. Только сообщения: «Привет, как дела? Не забывай про ужин в пятницу». Ужин в пятницу. Как буд-

то это что-то значит. Как будто мы сядем за один стол, и она спросит меня о чём-то важном, и я отвечу, и между нами будет что-то настоящее. Не будет. Мы оба это знаем. Просто делаем вид, потому что так проще.

Я сворачиваю на окраину. Здесь город другой — старые дома, облупившиеся фасады, фонари, которые горят через один. Я паркуюсь у подъезда, поднимаюсь на третий этаж. Дверь Лики всегда открыта — она никогда не запирается. Я толкаю её и захожу.

Квартира у неё — это отдельный вид искусства. Или отдельный вид хаоса. Обои отклеиваются, на полу книги, одежда, окурки, пустые бутылки, какие-то коробки, провода. На стенах — рисунки, которые она сама делала, когда была в настроении: кривые, странные, но в них что-то есть. На кухне гора посуды, кран подтекает, холодильник гудит так, будто вот-вот взорвётся. Лика сидит на подоконнике с сигаретой. Окно открыто, и в комнату врывается прохладный воздух.

Она красивая. По-настоящему красивая — не той глянцевой красотой, которую я вижу в клубах, а какой-то другой. Рыжие волосы, растрёпанные, будто она только что встала. Зелёные глаза, которые смотрят на меня так, будто я — что-то, что она нашла на улице и ещё не решила, оставить или выбросить. Красивая фигура, которую она не прячет — в майке и шортах, с татуировками на плече и на запястье. Татуировки у неё странные: какая-то птица, какие-то цифры, что-то ещё, чего я не понимаю. Она молодая — моложе меня,

наверное, — но выглядит старше. Не лицом, а глазами. Или тем, как держится. Жизнь её потрепала. Это видно по всему: по тому, как она курит, как смотрит в окно, как молчит. Она как будто уже устала, хотя целый день ничего не делала.

— Принёс? — спрашивает она вместо приветствия.

Я кладу на стол пакетик. Она даже не смотрит на него — просто тянется, открывает, и уходит вместе с порошком в другую реальность. На секунду мне кажется, что она счастлива. На секунду я думаю, что она рада меня видеть. Потом вспоминаю, что, если она и счастлива, то не мне.

Я знаю, кто она. Знаю, что она спит со мной за дозу. Знаю, что она спит не только со мной. Знаю, что она — шлюха, и должен чувствовать к ней отвращение. Иногда я его чувствую — когда она уходит в ванную и не возвращается полчаса, когда я слышу, как она с кем-то разговаривает по телефону, когда вижу на её шее засос, который оставил не я. Тогда я злюсь. Тогда я готов уйти и не возвращаться. Но проходит день, два — и я снова здесь. Меня тянет к ней. Не любовь — какое там. Что-то другое. Может, потому что она — единственная, кто не пытается казаться лучше, чем есть. Может, потому что она не врёт. Может, потому что с ней весело. Лика любит авантюры — сумасшедшие, опасные, такие, от которых у нормальных людей волосы дыбом встают. Она может предложить залезть на крышу, чтобы посмотреть на город. Или поехать на море ночью, без вещей, без плана. Или заняться сексом где-нибудь, где нас могут увидеть, —

в подъезде, в машине, в парке, на крыше. Ей это нравится. Ей нужен адреналин. Мне тоже. Наверное, это единственное, что нас связывает.

— Ты сегодня какой-то смурной, — говорит она, затягиваясь. — Опять отец?

— Не начинай.

— А что? Я же просто спросила.

Она смеётся — коротко, зло, будто сама над собой. И я чувствую, как раздражение снова поднимается внутри. Она смеётся надо мной. Она всегда смеётся надо мной. Может, это и есть причина, по которой я возвращаюсь. Никто больше не смеет надо мной смеяться. А она смеет. И я не могу ничего с этим сделать.

— Поехали кататься, — говорю я.

— Куда?

— Какая разница.

Она пожимает плечами и встаёт с подоконника. И я сразу вижу, что доза уже подействовала — глаза у неё стали другие, зрачки расширились, движения сделались плавными, будто она плывёт, а не идёт. Она улыбается чему-то своему, чему-то, чего я не вижу. И вместо того чтобы просто накинуть куртку, начинает переодеваться — прямо здесь, передо мной, ничуть не смущаясь. Стягивает майку через голову, и я смотрю. Не отвожу взгляда, потому что она этого и не требует. Светлые плечи, татуировка на лопатке, стоячая грудь с привздернутыми к потолку сосками, немного не сим-

метричная – правая заметно больше левой, но все ровно не терпящая никакой критики. Трусы со Спанч Бобом, на которые я тоже глазею, прежде чем она натягивает джинсы. Движения у неё ленивые, замедленные, будто каждое действие требует от неё чуть больше времени, чем должно. Она будто в другом мире — где нет ни меня, ни этой квартиры, ни её жизни. Может, там ей лучше. Может, поэтому она туда и уходит. Но я всё равно смотрю — жадно, как будто впервые. Наверное, в этом вся Лика: ей плевать, смотришь ты или нет, а ты всё равно смотришь.

Она натягивает джинсы, потом какую-то растянутую футболку, потом всё-таки куртку — и мы выходим.

Внизу, у подъезда, я открываю ей дверь машины, и она садится, не глядя. Я включаю музыку на полную, и мы летим по ночному городу — мимо огней, мимо вывесок, мимо людей. Лика высовывает руку в окно и кричит что-то ветру. Я смотрю на неё и думаю: вот бы и мне так. Вот бы и мне просто кричать, не думая ни о чём.

Но я не кричу. Я просто жму на газ.

…

Домой я возвращаюсь глубоко за полночь, падаю на кровать, не раздеваясь, и смотрю в потолок. В голове пусто. Не то чтобы я думаю о чём-то важном, — наоборот, я вообще ни о чём не думаю. Просто лежу и слушаю, как на улице сигналит машина, как где-то далеко, за окном, шумит город.

Я не помню, когда последний раз чувствовал что-то по-настоящему. Не злость, не раздражение, не азарт — а что-то другое. Тёплое. Настоящее. Может, никогда.

Я закрываю глаза и засыпаю. А утром всё начинается заново.

Глава 3

Надя

Начало июня пахнет сиренью и пылью. Сирень у нас под окном уже отцветает — тяжёлые лиловые гроздья поникли, осыпаются на крыльцо, и бабушка каждый день подметает их, а они всё равно лежат, будто кто-то специально рассыпает. Я люблю этот запах — сладкий, немного горький, с чем-то ещё, неуловимым. Когда я была маленькой, я думала, что сирень пахнет так, будто кто-то очень добрый прошёл по двору и оставил за собой след.

Утро у нас начинается с петуха. Рыжий, по имени Кирилл, с ободранным хвостом, орёт так, будто его режут, — и так каждое утро, уже года два. Потом скрипит половица на кухне — бабушка. Потом звякает крынка о стол, шипит масло на сковородке, и по дому разносится запах дрожжевого теста и топлёного молока. Я лежу с закрытыми глазами и слушаю. Это мой любимый звук на свете — не музыка, не птицы, не ветер, а вот это: бабушка на кухне, колодец скрипит, Бим тявкает на трактор. Дом дышит. Деревня дышит. И я дышу вместе с ней.

Сегодня я просыпаюсь раньше обычного. Смотрю на потолок, на трещинку в углу, которая похожа на птицу, и чувствую, как внутри всё сжимается. С самого утра. Уже неде-

лю так. Я не могу есть — бабушка ставит передо мной тарелку, а я ковыряюсь в ней ложкой, и она смотрит на меня и вздыхает. Я не могу спать — ворочаюсь до полуночи, считаю овец, считаю звёзды, считаю дни. И всё время думаю. Думаю. Думаю.

До дня рождения осталось меньше месяца. До того дня, когда мне будет восемнадцать. До того дня, когда я наконец скажу Саше всё…

И я фантазирую. Постоянно. Так, как фантазируют только дети и влюблённые — а я, кажется, и то и другое сразу. Я представляю это сотни раз, и каждый раз по-новому. Иногда я даже сама себе удивляюсь: откуда во мне столько картинок? Но они приходят сами, одна за другой, как огоньки в долине.

Вот я представляю, что это будет вечером. Тёплым, тихим, когда солнце уже село, но небо ещё розовое, и в воздухе висит та особенная летняя духота, от которой пахнет полынью и нагретой землёй. Мы сидим на лавочке у Баобаба — вдвоём, как будто случайно. И я говорю. Просто беру и говорю. А он молчит, смотрит на меня, и в его карих глазах отражается закат, и я не могу понять, что он думает. А потом он улыбается — не той доброй, снисходительной улыбкой, а другой. И говорит: «Надя, я думал, ты никогда не скажешь».

Или вот другой вариант. Днём, на поле. Мы едем на машине, я за рулём, он рядом. Я останавливаюсь — просто посреди дороги, заглушаю мотор, — и поворачиваюсь к нему.

И говорю. А он смотрит на меня так, будто видит впервые. И в машине становится так тихо, что слышно, как где-то далеко кукует кукушка. А потом он берёт меня за руку — и я чувствую его ладонь, тёплую и шершавую, и понимаю, что всё не зря.

А иногда я представляю это ночью. При луне. Чтобы было красиво — как в книжке. Луна большая, круглая, светит так, что всё вокруг серебряное. И мы стоим в роще, между дубами, и я говорю ему всё. А он молчит. Долго. Так долго, что мне становится страшно. А потом говорит: «Я знал». И я не понимаю — что знал? Что я его люблю? Или что он меня тоже? Но он не уточняет, просто притягивает меня к себе, и я слышу, как под его рубашкой стучит сердце — ровно, тепло, надёжно. Как у дедушки, когда он нёс меня на руках к Баобабу.

А ещё я фантазирую, что он сам скажет мне это первым. Что я приду к нему с вареньем или с пирогом, а он посмотрит на меня и скажет: «Надя, подожди». И я остановлюсь. И он подойдёт, и возьмёт мои руки в свои, и скажет то, что я так долго ждала. И мне даже не придётся ничего говорить. И это будет самое большое облегчение в моей жизни.

Иногда я представляю, что это случится в дождь. Мы где-то прячемся — под навесом у его дома или в машине, — и дождь стучит по крыше, и пахнет мокрой землёй и сиренью, и я говорю, а он слушает. А потом целует меня. И я не знаю, как это — целоваться, но в моих фантазиях это всегда полу-

чается само собой, будто я всю жизнь умела.

А бывает, я представляю, что он откажет. Что посмотрит на меня с той самой улыбкой и скажет: «Надя, ты же ещё совсем ребёнок». И я кивну, и уйду, и не заплачу при нём. А потом приду к Баобабу и буду сидеть там до темноты, и смотреть на огоньки, и думать, что всё это было глупостью. Как феи. Как гномы. Как Клёпа с Луны. И в этом варианте мне так больно, что я гоню его от себя — но он всё равно возвращается. Иногда ночью, когда я не могу уснуть. Иногда утром, когда я смотрю на своё отражение и думаю: ну кто он и кто я.

Но чаще всего я представляю, что всё получится. Что он скажет «да». Что мы будем вместе. Что я останусь здесь, в Высоком, и не нужно будет никуда уезжать, и бабушка с дедушкой перестанут бояться, и всё будет так, как я мечтала с самого детства.

Я знаю, что это наивно. Знаю, что взрослые так не думают. Что жизнь — не сказка, и огоньки в долине — не гномы с сокровищами, и принцы не приходят к деревенским девчонкам. Я всё это знаю. Но я всё равно фантазирую. Потому что иначе — как? Как дожить до этого дня, если не представлять, каким он будет?

Может быть, в день рождения пойдёт дождь. Может быть, будет луна. Может быть, ничего не будет — просто обычный день, и я скажу ему всё, и он ответит мне так, как я не представляла даже в самых смелых фантазиях.

Я не знаю. Но я жду. И от этого ожидания у меня внутри всё дрожит, как те огоньки в долине, когда на них смотришь слишком долго.

Уже неделю я сама не своя. Бабушка спрашивает, что со мной, а я говорю, что просто устала. Что волнуюсь из-за экзаменов. Она кивает, но я вижу, что не верит. Бабушка всегда знает больше, чем говорит. Но если она о чем-то и догадывается, то не подает виду.

Я не боюсь, что они не благословят. Ничуть. Я знаю: если всё получится, если Саша ответит мне так, как я мечтаю, — бабушка с дедушкой только порадуются за нас. Они всегда любили его. Сколько себя помню, он для них был не просто соседским парнем. Дедушка зовёт его «наш Сашка» — так, будто он нам родной. Когда Саша приезжает на лето, дедушка первым делом идёт к нему — не то чтобы помочь, а просто поговорить, узнать, как дела, что нового в городе. Они могут час простоять у забора и проговорить обо всём на свете: про стройку, про машины, про то, что нынче картошка не та, что раньше. А бабушка всегда что-нибудь ему передаёт — то пирог, то банку варенья, то яиц. «Саша, возьми, у нас лишние». Хотя у нас никогда не бывает лишних. Она просто хочет, чтобы он знал: его здесь ждут.

Я помню, как однажды, пару лет назад, бабушка сказала за ужином — вроде бы ни к кому не обращаясь, просто в воздух: «Хороший парень наш Саша. Надёжный. Не то что нынешние — вертятся, как флюгера». Дедушка тогда хмык-

нул и сказал: «Это точно. Руки золотые. И голова на месте». И они оба посмотрели на меня — коротко, украдкой, будто случайно. А я сделала вид, что не заметила, и уткнулась в тарелку, и щёки у меня горели так, что я думала, они заметят.

Они заметили. Конечно, заметили. Бабушка всегда всё замечает.

Может быть, они уже давно всё поняли. Может быть, они ждут, когда я сама скажу. Может быть, поэтому бабушка никогда не спрашивает напрямую — она просто ждёт, как ждала всегда, терпеливо, с той тихой мудростью, которая приходит с годами. И я знаю: когда я приду к ним и скажу, что мы с Сашей вместе, они не станут читать мне нотаций про возраст, про учёбу, про то, что рано. Они обрадуются. По-настоящему обрадуются. Потому что Саша — это не чужой человек. Он свой. Тот, кого они знают с детства. Тот, кому они доверяют. Тот, за кем я буду как за каменной стеной.

И, наверное, в этом тоже есть что-то от моих детских фантазий — эта уверенность, что всё будет хорошо, что все будут счастливы, что мир устроится сам собой, стоит только сказать вслух заветные слова. Я знаю, что взрослая жизнь сложнее. Я знаю, что не всё решается одним разговором. Но пока — пока я позволяю себе верить. В то, что бабушка с дедушкой благословят нас. В то, что они поймут. В то, что их любовь ко мне и к Саше — это та самая почва, на которой всё вырастет.

Может быть, я наивна. Может быть, всё будет иначе. Но я

всё равно верю. Потому что верить в это — тепло. Теплее, чем во что-либо другое.

Я лежу ещё немного, не вставая, — люблю это время, когда день только начинается, а весь дом ещё будто дышит сонно, нехотя.

Потом сажусь. Волосы падают на лицо — длинные, прямые, светло-русые, они у меня всегда так: ночью расплетаются, утром лежат на плечах, и бабушка говорит, что это мамины волосы, что у нее были такие же. Я заправляю их за уши, но они всё равно выбиваются. Натягиваю то, что висело на стуле с вечера, — обычную домашнюю одежду: старые спортивные штаны и длинную футболку, в которой иногда сплю и хожу по дому. Штаны болтаются на бёдрах, футболка висит, как на вешалке, и я машинально подтягиваю резинку повыше. Я знаю, что от бабушки это не ускользнёт. Она заметит. Она всегда замечает — и то, что я похудела, и то, что я не сплю, и то, что мысли у меня где-то далеко. Но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я просто иду на кухню — туда, где пахнет оладьями.

Бабушка стоит у плиты, спиной ко мне, в старом халате и платке, и переворачивает их ловко, одним движением, а они шкворчат на сковородке, подрумяниваются.

— Доброе утро, — говорю я.

Она оборачивается, окидывает меня взглядом — быстрым, но внимательным, как всегда.

— Доброе. Садись, сейчас последние сниму.

Я сажусь за стол. На нём уже стоит блюдо с оладьями — горкой, золотистые, кружевные по краям, — и банка варенья. Вишнёвое, бабушкино, густое, тёмно-красное, с целыми ягодами. Рядом — крынка с молоком и заварник с чаем, от которого идёт пар. Бабушка ставит передо мной тарелку, и я беру оладушек, обмакиваю в варенье, откусываю. Сладко, тепло, и во рту — вкус лета, вишни, солнца. Вкус дома.

— Варенье в том году вышло удачное, — говорит бабушка, садясь напротив. — Вишня уродилась.

— Угу, — киваю я, жуя.

Она наливает себе чаю, потом мне. Мы едим молча — но это не то молчание, которое бывает неловким. Это наше молчание, домашнее, уютное. Слышно, как за окном Бим тявкает на кого-то, как куры кудахчут в курятнике, куда-то едет трактор..

— Дедушка твой сегодня спозаранку уехал, — говорит бабушка. — Даже чаю не допил. Говорит, у них там сегодня какой-то больной с утра пораньше буянить начал. Представляешь? В шесть утра человеку неймётся.

— Что он сделал? — спрашиваю я.

— А что он сделал... — Бабушка усмехается. — Дедушка говорит, этот больной вообразил себя петухом. Забрался на подоконник и давай кукарекать. Весь корпус перебудил. Санитары его снимают, а он крыльями машет и клюётся. Дедушка говорит: «Я думал, у нас петухов и так хватает, а тут ещё один завёлся».

Я прыскаю, закрывая рот рукой. Бабушка тоже смеётся — тихо, себе под нос, и морщинки у её глаз собираются в лучики.

— А потом что?

— А потом ничего. Покормили его, и он успокоился. Дедушка говорит: «Петух петухом, а кашу ел за обе щеки». — Она отхлёбывает чай. — Вот так у них там, в лечебнице. Дурдом и есть дурдом. Не соскучишься. Дедушка твой говорит, что иногда приходит домой и думает: а кто из нас, собственно, ненормальный — они или мы, которые на них весь день смотрим.

— И правда, — говорю я.

— И правда, — соглашается бабушка.

Мы едим ещё немного. Я беру второй оладушек. Потом бабушка ставит чашку и спрашивает — вроде бы между делом, но я чувствую, что не между делом:

— Ну что, как успехи твои? В вождении.

Я пожимаю плечами, откусываю. Вкусно — правда вкусно, бабушка умеет готовить так, что и мёртвый проснётся и попросит добавки. Вишнёвое варенье растекается по языку, сладкое, с лёгкой кислинкой, и я чувствую, как оно тает, — но аппетита всё равно нет. Ем и не чувствую, что ем. Просто жую, потому что надо. Потому что если не буду, бабушка начнёт расспрашивать.

— Нормально. Потихоньку.

— Потихоньку она, — бабушка усмехается. — Ты мне

скажи: ездить-то уже не боишься?

Я сдала на права ещё в прошлом году — в сельской автошколе, в Покровском. Но опыта у меня нет. Я боюсь выезжать на дорогу, боюсь, что не справлюсь, боюсь, что что-нибудь случится. Хотя, если честно, в этой школе сдать может каждый, кто хотя бы раз видел машину. Так что права — это не про умение, а про бумажку.

Вот дедушка и предложил: «Пусть Саша тебя подучит». И Саша согласился. А дедушка... дедушка не создан для того, чтобы давать уроки. Он слишком несдержан и бывает раздражителен — особенно когда что-то идёт не по его. Он может сорваться, накричать, а потом весь вечер ходить и вздыхать, будто он виноват во всех невзгодах на свете. Нет, с дедушкой учиться вождению — это как учиться плавать с человеком, который орёт на воду. Так что Саша — это лучшее, что могло со мной случиться. С тех пор как он вернулся, мы занимаемся пару раз в неделю.

— Боюсь, — признаюсь я. — Но меньше. Саша говорит, что я справляюсь лучше, чем многие.

— Саша плохого не скажет, — замечает бабушка, и в её голосе слышится что-то такое, от чего у меня уши краснеют. — Он у нас парень честный. Если бы плохо было — сказал бы. Хотя... — она прищуривается, — с тобой он, может, и помягче, чем с другими.

Я чувствую, как мои щеки краснеют, как маков цвет, но ничего не говорю. Лишь надеюсь, что бабушка этого не за-

метит.

— Ты не забудь: у тебя сегодня с ним занятие.

— Помню, — говорю я. — В шесть.

— В шесть, — подтверждает бабушка. — Ты уж не задерживайся, не гоняй его до темноты. Он хоть и молодой, а целый день на ногах.

— Я не гоняю, — говорю я.

— Я и не говорю, что гоняешь. — Она улыбается уголком рта. — Я говорю: не гоняй. А то ты у меня иногда так увлечёшься, что и про время забудешь.

Я поднимаю на неё глаза. И вижу, что она смотрит на меня — внимательно, тепло, с той самой бабушкиной проницательностью, от которой не скроешься. Может, она и правда догадывается. Может, даже больше, чем я думаю. Но не говорит.

— Я поела, — говорю я, отодвигая тарелку. — Спасибо, бабуль.

— Ещё один съешь, — бабушка пододвигает блюдо. — Худющая вон, одни глаза. Смотреть больно.

— Бабуль...

— Что «бабуль»? Я тебе не враг. Ешь. И не переживай ты так из-за этих экзаменов, — добавляет она неожиданно. — Сдала и сдала. Не ты первая, не ты последняя.

Я замираю с оладушком в руке. Вот оно. Она думает, что я переживаю из-за экзаменов. Или делает вид, что думает. С бабушкой никогда не разберёшь: то ли она и правда не по-

нимает, то ли понимает всё и просто даёт мне пространство.

— Угу, — говорю я. — Постараюсь.

— Постарайся, — кивает она и встаёт убирать со стола.

А я сижу и думаю: в шесть. Сегодня в шесть. Сегодня я снова увижу его.

Но как же это долго…

Я не могла сидеть на месте. До шести — целая вечность, и я знала: если останусь в доме, буду слоняться из угла в угол, смотреть на часы и сходить с ума. Поэтому, когда бабушка собиралась в огород, я встала первой и сказала, что пойду с ней.

Накануне вечером шел небольшой дождик, поэтому в огороде сегодня сыро, ботинки чавкали по борозде, а небо было нерешительное — то ли распогодится, то ли нет. Мы сажали огурцы: бабушка делала лунки, я клала семена, засыпала их землёй и поливала. Потом мы пололи зелень — трава цеплялась за пальцы, оставляя на ладонях зелёные следы и горьковатый запах. Работа привычная, руки делают своё, а голова свободна — и я думала о нём, о Саше, о том, что сегодня у нас снова занятие. Я ждала его несколько дней.. Осталось дождаться несколько часов… Каких-то. Несколько. Бесконечных. Часов.

Бабушка любит огород. Не просто любит — она в нём живёт. Я замечаю это каждый раз: как она разговаривает с грядками, как трогает листья, будто здоровается, как подвязывает помидоры — бережно, будто детей. Она никогда не за-

ставляла меня помогать. Никогда не говорила: «Надя, иди полоть». Я сама приходила, и она не прогоняла, но и не звала. Ей, по-моему, даже нравилось работать одной — в тишине, наедине с землёй, со своими мыслями. Может, поэтому она так быстро меня отпустила.

— Иди, — сказала она, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони. — Делать тут вдвоем нечего.

- Я хочу помочь.

— Помочь она хочет, — бабушка усмехается. — Ты лучше воды Зорьке отнеси. Я её утром привязала за двором, у рощи. Пусть пасётся, а то в хлеву стоит, бедная, мается. Набери в бочке и отнеси. Ведро возьми, которое полегче.

Я киваю и иду, беру ведро — то, что поменьше, — иду к бочке. Вода в ней холодная, тёмная, пахнет железом и дождём. Я набираю полное ведро, и оно сразу становится тяжёлым. Несу через двор, вода плещется о края, оставляет на земле тёмные капли.

За двором, мимо огорода, начиналась роща. Я шла по узкой тропинке между грядками — а грядки в начале июня ещё почти пустые, только-только проклюнулись: помидоры стоят низенькие, тонкие, подвязанные к колышкам, будто дети, которых поставили в линейку; кабачки выпустили по два-три широких листа и прижались к земле; бабушкины цветы ещё не зацвели, только зелёные бутоны на тонких стеблях. Всё маленькое, робкое, будто огород сам ещё не проснулся до конца и ждёт настоящего тепла. А потом он просто закан-

чивается в траве — за ним она становится выше, гуще, уже не огородная, а луговая, и пахнет иначе — не землёй и зеленью, а чем-то сладковатым, тёплым, будто кто-то невидимый рассыпал по траве мёд.

Роща начинается сразу — дубы стоят редко, но могучие, с широкими кронами, и под ними светло, потому что листва ещё не успела загустеть по-летнему. Между стволами проглядывают луга — большие, открытые, уходящие вниз, к долине. Трава на них серебрится от росы, и ветер ходит по ней волнами — медленно, лениво, будто расчёсывает.

Зорька стоит на привязи у самого края рощи, там, где дубы редеют и начинается луг. Она белая с серыми пятнами, с бородкой и умными жёлтыми глазами. Я замечаю её издалека — она поднимает голову, когда я выхожу из-за деревьев, и смотрит на меня, будто ждала. Ведро в руке тяжелеет, вода плещется о края, и по траве за мной тянутся тёмные капли.

Я подхожу ближе, и Зорька мекает — негромко, приветливо, будто здоровается. Я ставлю ведро перед ней, и она сразу опускает морду, пьёт — жадно, но аккуратно, не разливая.

— Ну вот, — говорю я, гладя её по спине. — Хорошая моя.

Зорька поднимает голову и смотрит так, будто благодарит. Потом отворачивается и снова принимается щипать траву, медленно, обстоятельно, как будто это самое важное дело на свете.

А я стою. И не знаю, куда себя деть.

Идти обратно в огород нет смысла — бабушка сказала, что делать там вдвоём нечего, и я знаю: если приду, она только плечами пожмёт и снова отправит меня куда-нибудь.

Я осталась немного постоять у края рощи, у самого луга, где трава доходит мне до колен, и закрыв глаза, стала прислушиваться к звукам. Я делала так в детстве. Это была моя игра. Я называла её «слушать мир». Закрывала глаза и стояла, пока не начинало казаться, что я растворяюсь в звуках, что меня самой больше нет — есть только то, что я слышу.

Сначала слышно было только близкое: как Зорька щиплет траву — мягко, с хрустом, как она переступает копытцами и позвякивает привязью. Потом слух будто раскрывается шире, и я начинаю различать всё остальное. Птицы — их много, и они перекликаются в кронах дубов, невидимые: одна свистнет коротко и высоко, другая ответит, третья вдруг рассыплется трелью, будто смеётся. Где-то в траве стрекочут кузнечики — ровно, неустанно, как маленькие часы. Ветер трогает листья наверху, и они шумят — негромко, успокаивающе, будто кто-то большой и добрый ворочается во сне. И где-то далеко-далеко, на самом краю слышимого, — кукушка. Два колена, пауза, снова два колена.

А поверх всего этого, ближе, из-за деревьев, со стороны Сашиного двора — стук молотка. Тук. Тук. Тук. Ровный, размеренный, живой. Он не заглушает птиц и не спорит с ними — он просто есть, как биение сердца, которое слышишь,

только когда прислушаешься.

И я стою так, наверное, целую минуту. Может, две. Слушаю всё это вместе: птиц, кузнечиков, ветер, кукушку и его молоток. И чувствую, как во мне что-то выравнивается, успокаивается, будто внутри тоже всё встаёт на свои места — как эти звуки, которые не мешают друг другу, а складываются в одно.

Я открываю глаза. Зорька всё ещё щиплет траву, невозмутимая, будто ничего не случилось. А я чувствую, что во мне что-то сдвинулось — тихо, незаметно, как стрелка на часах, которую не видишь, но знаешь, что она идёт. И день вдруг начинает течь быстрее. Не то чтобы совсем быстро — но уже не тянется, как жвачка, а катится себе потихоньку, как телега с горы.

И вот уже вечер.

Я и не заметила, когда небо распогодилось. Утром оно было нерешительное, серое, будто сомневалось, стоит ли начинать день, — а теперь, к вечеру, вдруг разомлело, разнежилось и стало тёплым. Я выхожу на крыльцо и чувствую, как меня обдаёт этим теплом — мягким, ласковым, с запахом нагретой пыли, скошенной травы и чего-то ещё, сладкого, вроде бы сирени, которая уже отцвела, но всё ещё помнит, как пахнуть.

Солнце садится. Оно уходит куда-то за долину, туда, где

загораются огоньки, и небо над ним становится сначала золотым, потом розовым, потом — лиловым, и всё это переливается, перетекает одно в другое, как варенье, если его долго мешать ложкой. Длинные тени от домов и деревьев вытягиваются через двор, ложатся на траву, и трава в этих тенях кажется синей. Где-то далеко, за рощей, мычит корова. Где-то ближе, у соседей, звякает ведро. И воздух становится таким тихим, будто весь мир на секунду замер, чтобы посмотреть, как садится солнце.

А у Саши во дворе стук молотка наконец смолкает. Я слышу это даже отсюда — как тишина наступает на то место, где только что было тук-тук-тук. Потом — скрип, будто он спускается с лесов. Потом — его голос, негромкий: он что-то говорит Биму, и Бим отвечает коротким, довольным лаем.

Я смотрю на время в телефоне. Половина шестого…

Сердце у меня ухает куда-то вниз, а потом подскакивает обратно — так высоко, что, кажется, его слышно. Я иду в комнату, переодеваюсь — в джинсы и чистую футболку, поправляю волосы перед зеркалом, потом машу на себя рукой, потому что глупо, и всё равно поправляю ещё раз. Потом сажусь на кровать. Ровно в шесть мне нужно быть у него. Ровно в шесть. Не раньше — иначе я буду выглядеть как девчонка, которая не знает, куда себя деть. Не позже — иначе он подумает, что я несерьёзная.

И эти последние двадцать минут длятся ужасно медленно. Я смотрю на часы — проходит минута. Смотрю в окно —

проходит ещё одна. Слушаю, как бабушка гремит посудой на кухне, — проходит ещё две. Я считаю секунды. Я считаю вдохи и выдохи. Я смотрю на трещинку в потолке, которая похожа на птицу, и мне кажется, что птица тоже застыла, как и я, и не хочет лететь.

Наконец часы показывают без двух минут. Я встаю, выхожу из комнаты, иду по коридору на кухню. Бабушка у плиты, спиной ко мне.

— Я пошла, — говорю я.

Она оборачивается, смотрит на меня — быстро, но внимательно, как всегда.

— Иди, — говорит она, и улыбнувшись добавляет: — Да не гоняй его там.

Она отворачивается к плите. А я выхожу на крыльцо. Вечер обнимает меня тёплыми ладонями. И я иду — через двор, мимо бочки с водой, по тропинке между нашим и его двором. Иду, и сердце стучит где-то в горле, и в голове у меня пусто, и я не знаю, что скажу ему первым, когда увижу. Но я иду.

Осталось совсем немного. Несколько шагов. Каких-то. Несколько. Бесконечных. Шагов.

И вот я у перегородки. Двор у Саши большой, весь в строительном беспорядке: доски, кирпичи, куча песка, леса у стены пристройки. Саша строит эту пристройку к дому матери — большую, светлую, с широкими окнами. Он вообще строитель, это его работа, его хлеб. Он строит дома — разные,

большие и маленькие, — и этим зарабатывает на жизнь. Но здесь, у матери, он строит по-особому: не спеша, с душой, будто вкладывает в каждый уголок что-то своё. В прошлом году он переделал крышу на веранде, теперь взялся за пристройку — говорит, что хочет сделать большую кухню, чтобы матери было где развернуться.

Бим лежит у конуры, положив голову на лапы. При моём появлении он поднимает уши, потом вскакивает — и я вижу, как хвост у него начинает ходить из стороны в сторону, всё быстрее и быстрее, пока не превращается в сплошное черное пятно. Он рад мне. И я ему тоже.

Но глядя на него, я вспоминаю Клёпу и с грусть вздыхаю. Бим дружил с Клёпой — когда тот был жив. Это было странное товарищество: старый, мудрый Клёпа и молодой, неуклюжий Бим, который тогда ещё был щенком. Они бегали вместе по двору, спали рядом, а пару раз, когда Бим срывался с привязи, они вдвоём убегали в долину — туда, вниз, к тем самым полям, куда мне ходить не разрешали. Я тогда страшно переживала за них двоих. Но они всегда возвращались — живые, невредимые, счастливые, с высунутыми языками, будто вернулись из большого приключения. Я бросалась к ним, обнимала, ругала — а они только виляли хвостами и тыкались носами в мои ладони. У них были свои феи и гномы, у этих двух. И я была рада, что они есть.

Я захожу за перегородку, делаю несколько шагов по траве — и вдруг дверь уличного душа, пристроенного к стене до-

ма, открывается.

Саша выходит.

Он в одних шортах, ну, вроде бы это шорты… по крайней мере, я надеюсь, что не застукала его в одних трусах…, с голым торсом, и весь мокрый — вода блестит на плечах, на груди, стекает каплями по спине. Волосы тёмные, мокрые, прилипли ко лбу, и он трёт их полотенцем — быстро, рассеянно, — а потом откидывает голову назад, и капли разлетаются в стороны, и в закатном свете на секунду вспыхивает что-то вроде маленькой радуги.

И я замираю.

Я знаю его всю жизнь. Я видела его в разных видах — в школьной форме, в рабочей одежде, в праздничном костюме на чьей-то свадьбе. Но сейчас, в этом вечернем свете, с мокрыми волосами и полотенцем на плече, он кажется мне самым красивым парнем на свете. Высокий, широкоплечий, с тёмными волосами и тёплыми карими глазами, в которых будто всегда притаилось солнце. Я смотрю на него и не могу насмотреться — на то, как двигаются мышцы под кожей, когда он вытирается, как блестит вода на его плечах, как он щурится, будто ему всё ещё мешает мысль о прошедшем дне.

Я знаю, что он взрослый. Что он старше меня на пятнадцать лет, что у него своя жизнь, своя квартира в городе, своя работа. Я вижу это сейчас особенно ясно — и не только по тому, как он стоит, как держится, как спокойно и уверенно вытирает волосы. Я вижу это по всему: по щетине на его ли-

це — тёмной, короткой, которая у парней из моего класса ещё даже не растёт по-настоящему; по широким, мускулистым плечам, по рукам, которые знают, что такое тяжёлый инструмент; по тёмным волосам на груди, дорожкой спускающимся вниз, к шортам. Он не такой, как мои одноклассники — те суетятся, краснеют, говорят невпопад, у них ещё всё мальчишеское, угловатое, будто они сами себя стесняются. В нём есть что-то другое — твёрдое, надёжное, взрослое. И это отличие не отталкивает меня. Наоборот — притягивает. Мне хочется смотреть на него, разглядывать, запоминать: как двигаются мышцы под кожей, как он щурится, как проводит рукой по щетине, будто проверяя, не пора ли побриться. Для него я, наверное, всё ещё та маленькая девочка, которая когда-то убежала от него в самый последний момент, когда дедушка щёлкал фотоаппаратом.

Но сейчас, глядя на него, я об этом не думаю. Совсем не думаю. Да, он взрослый. Да, он старше. Но для меня он не «слишком взрослый» — он просто Саша. Тот самый Саша, который всегда был рядом, в соседнем дворе, в двадцати шагах. Сашка, который сделал мне качелю. Саша, который ездит на знакомом с детства грузовике.. И хоть последние годы я вижу его гораздо реже, и почти ничего не знаю о его жизни, в эту секунду он не кажется мне ни чужим, ни далёким. Он кажется мне моим. И я не нахожу в этом ничего странного.

Он замечает меня. И улыбается — лучезарно, широко, так, что у меня внутри всё переворачивается и падает куда-то

вниз, а потом поднимается обратно, к самому горлу.

— Уже пришла? — говорит он и смотрит на часы на руке — наверное, единственное, что на нём сейчас надето, кроме шорт.. — Ровно в шесть. Прилежная ученица. А я вот только из душа…, — он замолкает, будто что-то обдумывая, а затем говорит: — Давай вот что сделаем. Пошли, дам тебе ключи от машины. Ты пока заведешься, а я быстренько приведу себя в порядок.

Он кивает мне головой, давая знак последовать за ним.

Я делаю шаг. Потом ещё один. Ноги у меня ватные, и я не знаю, куда деть руки, и чувствую, что краснею — предательски, до корней волос. Хорошо, что он идет впереди и не видит этого…

Пока мы идем, я усмехаюсь про себя: «Привести себя в порядок». Он говорит это так, будто сейчас выглядит неподобающе. Будто он не стоит посреди двора, мокрый, с полотенцем на плече, с этой щетиной и этими плечами, — будто он не выглядит как… как Бог.

Мы заходим в дом. У Саши в сенях пахнет по-другому, чем у нас: не пирогами и сушёными травами, а деревом, краской и чем-то ещё, свежим, будто недавно мыли полы. На стене у входа — ключница, простая деревянная дощечка с крючками. Саша тянется к ней, снимает связку — и я узнаю её сразу. Я держала её в руках не раз, с тех пор как он начал давать мне уроки вождения. Целый пучок: большие, маленькие, с разноцветными головками, и среди них — два

тяжёлых, металлических, с потёртой краской. От грузовика.

— Вот, — говорит он и кладёт связку мне в ладонь. Ключи холодные и тяжёлые, и я чувствую пальцами каждую выемку, каждую царапину, уже ставшими знакомыми до мелочей. — Пока двигатель будет греться, я успею переодеться. И сразу выезжаем.

Он уходит — в дом, а я остаюсь стоять в сенях с ключами в руке. Я должна сама выйти за двор, сама сесть за руль, сама завестись и ждать. В этом нет ничего сложного — я это умею, я это делала. Но почему-то руки у меня немного дрожат, и я чувствую себя так, будто мне доверили что-то очень важное и очень хрупкое.

Растерянность отступает медленно. Глупо, право же, стоять здесь столбом, когда я прекрасно знаю, что делать. Я заводила эту машину уже не раз — и «Вероссу», и даже грузовик. И ключ я узнаю сразу: на связке их несколько, но нужный — тот, что с маленьким, стёртым логотипом «тойота» на головке, — я нахожу почти не глядя. Пальцы привычно выхватывают его из общего пучка. Я делаю шаг к двери, потом ещё один, и выхожу на улицу.

Обе Сашины машины стоят у забора, на улице, бок о бок. «Веросса» — чёрная, блестящая, длинная, с плавными, чуть хищными боками, — и рядом, чуть в стороне, серый, видавший виды грузовик.

Этот грузовик я помню столько же, сколько самого Сашу. Он ездит на нём с восемнадцати лет. Был почти мальчишкой,

а уже сидел в этой кабине. Для меня Саша и этот грузовик — одно и то же. И он дорог мне по-своему, этот старый, серый, грохочущий грузовик. Может, дороже, чем блестящая «Веросса». Потому что в нём — весь Саша. Тот самый, которого я знаю с детства.

Я подхожу к «Вероссе», и в её отражении на глянцевой дверце на секунду мелькает моё собственное лицо — сосредоточенное, с закушенной губой. Я открываю дверь, и в лицо мне пахнет чем-то приятным, едва уловимым — не резкими «ёлочными» вонючками, а мягким, тёплым, с древесными и чуть сладковатыми нотами. Я балдею от запаха ароматизатора в Сашиной машине.

Сажусь за руль, и кресло с высокой боковой поддержкой охватывает меня со всех сторон, будто пытается удержать на месте. Кожаный руль, маленький и хваткий, ложится в ладони как влитой; приборная панель вспыхивает красноватой подсветкой, и в этом свете салон на секунду кажется не машиной, а маленькой, уютной комнатой, где всё устроено для одного человека. Я в машинах не смыслю ни бельмеса. Для меня все они делятся на «едет» и «не едет». Но дедушка, когда Саша купил её, сказал: «Хорошая машина. Надёжная. И характер у неё есть». А дедушка в технике разбирается, ему можно верить. Впрочем, я слукавлю, если скажу, что не вижу разницы между Сашиной машиной и нашей.

Я вставляю ключ в замок зажигания. Поворачиваю. Двигатель отзывается мягким, низким урчанием — тихим, но

таким, что я чувствую его под ложечкой. Машина просыпается.

И вот теперь, когда всё сделано, когда машина мягко урчит, а руки лежат на руле, я снова его вижу — там, во дворе. Мокрого, в одних шортах, с полотенцем на плече. Вода блестит на его плечах, на груди, стекает каплями по спине…

Мне становится неловко, как было во дворе, когда я застала его в таком виде, будто подсмотрела что-то, что мне видеть не положено и я отвожу глаза — хотя сейчас, в пустой машине, отводить их некуда. Только на приборную панель, на красные огоньки, на свои руки, сжимающие руль.

«Привести себя в порядок», — снова думаю я и усмехаюсь про себя. Если бы он знал, как невероятно привлекательно он выглядел в тот момент и как сильно я схожу по нему с ума, он бы, наверное, удивился. Или нет. Может, он привык, что по нему сходят с ума. Я ничего не знаю о Сашиной личной жизни… О девушках, с которыми он был и сколько их было… Но могу предположить, что я не первая, кто так сильно трескался в красавца вроде него. Не мудрено…

Но думать о других не хочется. Совсем.

А потом в голову приходит другая мысль. Тихая, тёплая, немного наивная — но такая приятная, что я не могу её не думать. Саша ведь так и не женился. Ему тридцать три года — по нашим меркам, уже взрослый мужчина, пора бы. Но ни разу за все эти годы я не видела его с кем-то. И я думаю, глупо, по-детски: а вдруг он ждал? Вдруг ждал, пока я вырасту?

Я знаю, что это, скорее всего, неправда. Но мысль такая тёплая, что я позволяю себе в неё поверить. Хотя бы на минуту. Пока сижу здесь, в его машине, и жду его, положив руки на руль.

Двигатель урчит тихо, убаюкивающе. Ароматизатор пахнет чем-то тёплым и древесным. А перед моими глазами всё ещё стоит он — мокрый, с полотенцем на плече, с каплями, блестящими на коже, с этой своей спокойной, уверенной улыбкой. Я пытаюсь смотреть на дорогу, на двор, на что угодно, — и не могу. Взгляд сам возвращается к нему. И я сижу, как дурочка, с ключами в замке зажигания, улыбаюсь, и жду.

Я вижу его раньше, чем он меня. Дверь дома открывается, и Саша выходит на крыльцо — уже переодетый. На нём стильный спортивный костюм: тёмная ветровка с белыми полосками на рукавах, спортивные штаны, кроссовки. Волосы ещё влажные, зачёсанные назад, и он идёт легко, пружинисто, будто и не работал весь день на. И я тут же отворачиваюсь. Резко, будто меня поймали на чём-то постыдном. Смотрю прямо перед собой, на приборную панель, на красные огоньки, которые вдруг стали ужасно интересными. Щёки горят. Глупо. Он же просто идёт.

Дверца открывается, и Саша садится рядом. От него пахнет мылом и мятой. Салон вдруг становится теснее.

— Ну что, — говорит он, пристёгиваясь. И вдруг улыбается — лукаво, словно в шутку, — и добавляет: — Ты уж

прости, но я пристегнусь. На всякий случай. Мало ли, что у тебя на уме.

Я фыркаю, а он продолжает, уже серьёзнее, но всё ещё с улыбкой в голосе.

— Ты тоже пристегнись. Не потому, что я тебе не доверяю. А потому, что я тебе доверяю. Но правила есть правила.

Я тянусь за ремнём, и он кивает, довольный.

— Я смотрю, ты уже освоилась, — говорит он.

— Ага, — говорю я. — Завелась.

— Молодец. — Он улыбается, и я чувствую эту улыбку, даже не глядя на него. — Ну, трогайся. Только не спеши. Сначала медленно, потом разберёшься.

Я трогаюсь. И чувствую, как от его шутки внутри становится теплее — и от того, что он пристегнулся, будто и правда боится, и от того, что попросил пристегнуться меня. В этом я уловила жест заботы.

А ещё я чувствую разницу между этой машиной и дедушкиной. У дедушки «Тойота Пробокс» — старый, верный универсал. Я его люблю: не подводит никогда, и дедушка говорит, что она ещё нас всех переживёт. Но в ней всё просто, по-спартански — тканевые сиденья, жёсткий пластик, и пахнет бензином. У «Вероссы» ход гораздо мягче, кочки на ней почти не ощущаешь, двигатель работает тише, а руль приятно держать в руках…

— Вот, хорошо, — говорит он, когда я выезжаю на просёлочную дорогу. — Видишь? Всё у тебя получается.

— Если честно, я волнуюсь, — признаюсь я.

— Это нормально. Я тоже волновался, когда только начинал. — Он откидывается на спинку, смотрит на дорогу. — Главное — не бойся. Ты же не одна. Я рядом.

Я рядом. Опять эти слова. Я вцепляюсь в руль чуть крепче и говорю себе: не думай. Просто веди. Но мысли всё равно разбегаются, как куры, — в разные стороны, и никак их не собрать.

Наша деревня не большая — дворов пятьдесят, может, чуть больше. По сравнению с Покровском или даже с соседними деревнями, которые побольше, наше Высокое — просто пятнышко на карте. Но для меня оно никогда не было маленьким. Может, потому что я выросла здесь и знаю каждый уголок, а может, потому что здесь всё своё, родное, и от этого кажется огромным.

Но главная улица тянется долго, и дома заканчиваются не сразу. Последний двор, за ним — поворот, и начинается дорога в поля. Она чуть хуже: уже не такая укатанная, как на улице, — местами разошлась травой, местами взрыта колеями, но мы всё равно сворачиваем на неё. Я знаю этот маршрут наизусть — мы ездим по нему на каждом занятии. Сначала по улице, затем в поля, вдоль рощи, потом вниз, к лугам, по краю поля и обратно. Я могу вести эту дорогу с закрытыми глазами — почти.

Вечер только начинает заниматься. Солнце ещё не село — оно висит низко над рощей, которую мы оставили позади —

большое, оранжевое, и закат только-только разгорается, разливаясь по небу розовым и золотым. Всё вокруг стало мягким, будто кто-то накрыл мир тонким покрывалом.

Саша молчит. Я тоже молчу. Веду машину и искоса поглядываю на него. Он не смотрит на дорогу. Совсем не смотрит. Откинувшись на спинку сидения он смотрит в телефон. Пальцы быстро бегают по экрану, он кому-то отвечает, и лицо у него сосредоточенное, будто он сейчас не в машине, не со мной, а где-то далеко.

А меня это почему-то задевает — хотя глупо, он же пассажир, ему не обязательно следить за дорогой. Но всё равно. Я стараюсь, веду, волнуюсь, а он переписывается… С кем? С другом? С заказчиком? С девушкой?

Я гоню эту мысль прочь. Не думать. Не думать о том, с кем он переписывается. Не думать о том, что там, в его телефоне, может быть чьё-то имя, чьё-то лицо, чья-то улыбка. Не думать.

И вместо этого начинаю думать о другом. О том, что скоро — совсем скоро — мне будет восемнадцать. О том, что я скажу ему в тот день. Как скажу. Где скажу. Что он ответит. Как посмотрит. Что будет потом. И эти мысли подхватывают меня, как течение, и уносят — далеко-далеко, туда, где нет ни дороги, ни полей, ни машины, а есть только он и я, и моё признание, и его ответ.

Я не замечаю, как машина начинает вилять. Не замечаю, как правое колесо съезжает на обочину. Не замечаю, как пе-

ред глазами вдруг вырастает что-то белое, пышное — яблоня, вся в цвету, стоит у края дороги, и ветки её светятся в закатном свете, будто обсыпаны снегом.

— Надя! — резкий голос Саши врывается в мои мысли.

Я вздрагиваю. И только тогда вижу, что мы едем прямо на эту яблоню. Прямо. Сейчас. Ещё секунда —

Саша перехватывает руль. Резко, сильно, так, что машина дёргается и выравнивается. А второй рукой — я даже не сразу понимаю, что происходит, — он сжимает мою ногу, правую, чуть выше колена, заставляя нажать на тормоза. Машина клюёт носом и останавливается.

Прямо перед яблоней. Так близко, что я вижу каждый лепесток.

И тишина.

Я сижу, вцепившись в руль, и сердце у меня колотится так, что, кажется, сейчас выпрыгнет. Руки дрожат. Во рту пересохло.

— Ты… — Саша выдыхает, и голос у него тоже не совсем ровный. — Ты чего?

— Я… — Я не могу найти слов. — Я не знаю. Я задумалась.

— Задумалась она. — Он откидывается на спинку, проводит рукой по волосам. — Надя, ты чуть в яблоню не влетела. Я же говорил: не отвлекайся.

— Прости, — говорю я тихо. — Я правда… прости.

Он молчит секунду. Потом поворачивается ко мне, и в его

глазах уже нет испуга — только что-то другое, мягкое, тёплое.

— Ладно, — говорит он. — Живы — и хорошо. Ты как? В порядке?

— В порядке, — говорю я, хотя руки всё ещё дрожат.

— Вот и славно. — Он улыбается, уголком рта. — Яблоня красивая, конечно. Но не настолько, чтобы в неё врезаться.

Я смеюсь, соглашаясь, но внутри плачу.

Я чувствую себя ужасно. Просто ужасно. Сижу, вцепившись в руль, и мне хочется провалиться сквозь землю — или хотя бы сквозь сиденье. Чуть не влетела в яблоню. При нём. При Саше, который доверил мне свою машину, который сидит рядом и смотрит на меня, наверное, как на ненормальную. Я даже не могу на него взглянуть. Смотрю прямо перед собой, на дорогу, на яблоню, которая всё ещё стоит слишком близко, и чувствую, как горят щёки.

— Прости, — говорю я ещё раз, тихо. — Я правда не знаю, что на меня нашло.

— Да ладно, — говорит он. — Бывает.

— Не бывает, — упрямо говорю я. — Я чуть в дерево не врезалась. Это не «бывает», это… это я дуреха..

Он смеётся — негромко, коротко, — и от этого смеха мне становится чуть легче.

— Дуреха — это громко сказано, — говорит он. — Вот если бы ты в нее влетела, тогда да. А так… — он пожимает плечами, — так, недоразумение.

Я выдыхаю. И заставляю себя собраться. Хватит. Хватит витать в облаках, хватит думать о том, о чём думать сейчас совсем не время. Я здесь, за рулём. Я должна вести. Я должна быть сосредоточенной.

И я стараюсь. Правда стараюсь. Смотрю на дорогу, слежу за колеёй, за поворотами, за тем, чтобы машина шла ровно. И краем глаза замечаю — Саша больше не смотрит в телефон. Он убрал его. Сидит, откинувшись на спинку, и смотрит на дорогу. Внимательно. Серьёзно. Будто теперь он здесь, со мной, а не где-то там.

И мне от этого почему-то становится теплее. Хотя радоваться тут особо нечему — я чуть не разбила его машину.

Мы едем молча. Дорога ровная, поля по бокам, закат разгорается всё ярче. И тут он говорит:

— Надя.

— Да?

— Ты нервничаешь из-за экзаменов?

Я вздрагиваю. Экзамены. Ну да. Конечно. Он думает, что я нервничаю из-за экзаменов. Как бабушка. Как все.

— Ну… — Я запинаюсь. — И из-за них тоже.

— Понятно, — говорит он. И вдруг добавляет, мягко, без всякого нажима: — Ты не переживай. Сдала — и сдала.

Я киваю. Молчу. А про себя думаю: если бы ты знал, Саша. Если бы ты только знал, из-за чего я на самом деле нервничаю.

Мы доезжаем до развилки — там, где просёлок расходит-

ся на две стороны: одна уходит дальше в поля, другая — обратно, к деревне, но дорога там слишком плохая для легкового автомобиля. И Саша говорит:

— Ну всё, давай тут разворачивайся.

Я киваю. Место знакомое: перекрёсток узкий, с одной стороны — канава, с другой — высокий бурьян, и развернуться здесь можно только с задним ходом. Я делала это уже не раз. На каждом занятии. Я помню, как надо крутить руль, как сдавать назад, как чувствовать габариты.

Но сейчас я почему-то не могу собраться. Руки на руле, нога на педали — а в голове пусто, будто кто-то стёр все инструкции ластиком. Я начинаю крутить руль, но машина идёт как-то не так, и я останавливаюсь, и снова начинаю, и снова останавливаюсь. Дыхание сбивается. Щёки горят.

Саша молчит. Смотрит. Я чувствую его взгляд — и от этого становится только хуже.

— Надя, — говорит он наконец, — ты чего? Ты же тут сто раз разворачивалась.

— Я знаю, — говорю я. — Я... я не могу что-то.

Он не смеётся. Не вздыхает раздражённо. Просто смотрит на меня внимательно, будто пытается что-то понять.

— Ладно, — говорит он спокойно. — Давай передохнём. Заглуши мотор.

Я глушу. И сижу, вцепившись в руль, чувствуя себя полной идиоткой.

Прямо перед нами, метрах в пяти, стоит яблоня. Та самая.

Белая, пышная, как невеста, вся в цвету — будто кто-то взял и обсыпал её снегом, который почему-то не тает. В закатном свете её лепестки кажутся розоватыми, и ветки слегка покачиваются на ветру, и от этого кажется, что дерево дышит. Яблоня стоит одна, у самого края поля, и вокруг неё — только трава да сизое вечернее небо.

Я смотрю на неё и не могу отвести глаз. Не потому, что она такая красивая. Хотя красивая. А потому, что мне больше некуда смотреть. Не на Сашу же. Не в руль. Не в свои руки, которые всё ещё дрожат. Вот я и смотрю на яблоню.

И думаю совсем не о ней.

Я думаю о машине. О его машине. О том, что я чуть не разбила её — эту чёрную, блестящую «Вероссу», которую он купил только в прошлом году, которую дедушка назвал хорошей, которую он холит и бережёт, наверное, больше, чем что-либо ещё. Я чуть не влетела в дерево. На его машине. При нём. И теперь он сидит рядом и молчит, и я не знаю, что у него в голове. Может, он злится. Может, жалеет, что вообще связался со мной, что согласился давать эти уроки. Может, думает сейчас: «И зачем я только доверил ей руль?» И от этих мыслей мне хочется провалиться сквозь землю — прямо здесь, на этом узком перекрёстке, который сегодня оказался мне не под силу.

Я бы всё отдала, чтобы узнать, что он сейчас думает. И я бы всё отдала, чтобы он не думал обо мне плохо.

Саша молчит ещё немного. Потом говорит — спокойно,

без упрёка:

— Я помню, что обещал тебе трассу. Но давай сегодня без неё.

Я поднимаю на него глаза.

— Почему?

— Потому что ты сегодня рассеянная, — говорит он просто. — И это не упрёк. Просто факт. Ты сама не своя. А трасса — это не просёлок. Там скорость, там машины, там думать надо в два раза быстрее. А ты сегодня думаешь о чём-то другом. Я не хочу, чтобы ты нервничала ещё сильнее.

Я открываю рот, чтобы возразить, — и закрываю. Потому что он прав. Он абсолютно прав. Я сегодня не в форме. Я сегодня вообще не там, где надо.

— Давай лучше вернёмся в село, — продолжает он, — и проедемся по просёлку. Там спокойно, там ты всё знаешь. И я рядом. А трассу мы с тобой никуда не денем. В следующий раз поедем. Когда ты будешь готова. Договорились?

Я киваю. И чувствую, как внутри отпускает — чуть-чуть. Потому что трасса меня и правда пугала. Особенно сегодня. Особенно когда в голове у меня вместо дороги — он, и моё признание, а теперь еще и белая яблоня, в которую я чуть не влетела…

— Договорились, — говорю я.

— Вот и хорошо. — Он улыбается. — А теперь давай разворачивайся. Только спокойно. Не спеши. Мы никуда не торопимся.

И я разворачиваюсь. Медленно, осторожно, чувствуя руль, чувствуя габариты, чувствуя его взгляд. И на этот раз получается. Машина идёт ровно и плавно. Мы оставляем яблоню позади и теперь без происшествий катимся между полей.

А когда мы въезжаем обратно, в село, я вдруг думаю: он сказал «когда ты будешь готова». И я не знаю, о чём он говорил — о трассе или о чём-то ещё. И эти слова вертятся у меня в голове, как заклинание, как предсказание. Будто он уже знает. Будто он ждёт. Будто он говорит не о дороге, а о том, что между нами может быть. И от этой мысли у меня внутри всё сжимается и разжимается одновременно — от страха и от надежды.

…

Я паркуюсь у его дома — медленно, аккуратно, чувствуя, как машина наконец слушается меня. Глушу мотор. И сижу секунду, не отстёгиваясь, будто чего-то жду.

— Ну вот и приехали, — говорит Саша, и в голосе его слышится что-то такое, от чего я вздрагиваю. Он быстро отстёгивает ремень, тянется к ручке двери — так, будто спешит. Будто хочет поскорее выйти. Будто хочет поскорее избавиться от меня.

Может, мне кажется. Может, у меня просто разыгралось воображение — после яблони, после его слов, после всего этого вечера. Но я вдруг чувствую себя неловко. Так, будто я задержала его, будто он ждал, когда же это кончится. И от

этого внутри становится холодно.

— А ты... не хочешь поужинать с нами?... Бабушка просила тебя пригласить… — я запинаюсь, потому что бабушка ничего такого не говорила, — Она варила, кажется, щи.. И оладьи ещё остались…

Он смотрит на меня — секунду, будто взвешивая, — и качает головой:

— Спасибо, Надь. Правда. Но не могу. Мне надо в город.

— В город? — Я не успеваю спрятать разочарование.

— Ага. Дела. — Он пожимает плечами. — Ненадолго. На пару дней, может.

— О-а…

Я киваю. И думаю: он один. Тётя Наташа уехала, и он один — сам себе готовит, сам хозяйничает. Я ещё днём хотела принести ему оладий, завернуть в полотенце, тёплых, с вареньем, — но не осмелилась. А теперь и вовсе не надо — он уезжает.

И тут я вспоминаю о Биме. Словно хватаюсь за единственную соломинку, способную его удержать.

— А как же Бим? — говорю я, и голос звучит почти жалобно.

Саша оборачивается.

— Бим? — переспрашивает он. — А что Бим?

— Ну… ты же уезжаешь. А он останется один…

— А, ты об этом. Так я ненадолго. Может даже завтра вернусь. Но, если что, ты не могла бы его покормить?

— Конечно, могла бы, — говорю я, с трудом скрывая дрожь в голосе.

— Вот и славно. — Он кивает. — Я буду спокоен, если ты за ним приглядишь.

Я улыбаюсь — через силу. И отстёгиваю ремень. Выхожу из машины, и он выходит тоже. Стоим у калитки, друг напротив друга, и вечер уже совсем сизый, и где-то далеко, я знаю, зажигаются первые огоньки — огни города, куда он теперь уезжает…

Мне хочется подойти ближе. Взять его за руку. Мне кажется, что наше прощание должно быть другим — более тёплым, более… интимным. Будто между нами что-то есть, что можно признать хотя бы на секунду. Я делаю крошечный шаг вперёд, почти незаметный, и уже почти протягиваю руку.

Но Саша поднимает пятерню в воздух — непринуждённо, легко, — сжимает и разжимает её, будто говорит: «Ну, давай». И всё. И ничего больше.

Я тоже машу ему рукой. Тоже легко. Тоже непринуждённо. И улыбаюсь — так, будто мне совсем не грустно.

Он уходит первым. Идёт к дому, к своим сборам, к своей дороге. Я провожаю его взглядом — недолго, секунду-две, — а потом поворачиваюсь и иду к себе.

Возле двора стоит дедушкина машина — старый «Пробокс», весь в пыли, с заляпанными колёсами. Значит, дедушка вернулся с работы. Я захожу во двор, и вижу их обоих: дедушка сидит на крыльце, усталый, ссутулившийся, в своей

рабочей одежде, а бабушка стоит рядом с полотенцем в руках. При виде меня дедушкино лицо расцветает — морщины разглаживаются, глаза загораются, и он выпрямляется, будто сразу помолодел.

— Привет, внучка — говорит он. — Ну что, как покатались?

— Хорошо, — говорю я, и голос звучит бодро, почти весело. — Всё хорошо. Саша говорит, я справляюсь.

Я решаю умолчать об «недоразумении» с яблоней.

— Ну и славно, — кивает дедушка. — А то мы с бабушкой уже думали, не случилось ли чего.

— Что у нас могло случиться? — я пожимаю плечами. — Всё в порядке.

Бабушка смотрит на меня внимательно, но ничего не говорит. Только поджимает губы — так, будто что-то замечает, но решает промолчать.

— Слушай, — говорит дедушка. — А чего это мы Сашку-то не позвали? Пусть зайдёт, поужинает с нами.

— Он уезжает, — говорю я. — По делам. В город.

— А-а, — протягивает дедушка. — Ну, тогда в другой раз.

— В другой раз, — соглашаюсь я.

— Ну а ты? — бабушка кивает на дверь. — Пойдём, поешь.

— Можно я сначала немного посижу на качели? — говорю я.

Бабушка хочет что-то сказать, но дедушка кладёт руку ей

на плечо, и она замолкает. Они уходят в дом. А я иду к качелям — старым, деревянным, которые Саша сделал для меня много лет назад, когда я была совсем маленькой. Они всё ещё держатся. Всё ещё скрипят, когда садишься. Я сажусь и начинаю тихонько раскачиваться.

И жду.

Жду, чтобы проводить его. Издалека. Чтобы увидеть, как он выйдет, сядет в машину и уедет.

Вот из дома выходит свет — он включил в комнате лампу. Потом свет гаснет. Потом открывается дверь, и на крыльцо выходит Саша — уже с сумкой через плечо, в той же ветровке. Он идёт к машине, открывает багажник, что-то кладёт. Потом садится за руль. Заводит двигатель — я слышу это даже отсюда, тихое, мягкое урчание. Фары вспыхивают, выхватывая из темноты забор, кусты, дорогу.

Машина трогается. Медленно, плавно. И уезжает — вниз, по улице, к повороту.

Я подхожу к калитке, чтобы посмотреть ей вслед, и что-то в моей душе сжимается. Так сильно, что становится трудно дышать.

Мне не хочется, чтобы он уезжал. Мне хочется, чтобы он остался. Чтобы развернул машину, вернулся назад, вышел из нее и подошёл ко мне. Чтобы сказал что-нибудь — что угодно. Чтобы я могла взять его за руку и не отпускать.

Но машина уже за поворотом. И огоньки её фар растворяются в сизой темноте.

Проводить машину глазами было мало. Слишком мало. Я постояла ещё секунду, глядя на пустую дорогу, а потом повернулась и пошла — через двор, вниз по тропинке.

Роща обступила меня тишиной — густой, прохладной, пахнущей корой и прелой листвой. Я шла не глядя, ноги сами находили дорогу. А когда вышла к Баобабу и села на лавочку, долина открылась передо мной вся сразу.

Она дышала. Огни не просто горели — они жили, переливались, текли, как кровь по тёмным венам земли. А где-то далеко, между этой россыпью и темнотой, была трасса, и по ней сейчас ехал он. Я чувствовала это всем телом — будто нить натянулась между мной и его машиной, и чем дальше он уезжал, тем сильнее она дрожала, тем больнее тянула.

Мне было холодно. Не от ночного воздуха — от пустоты рядом. И эта пустота была такой огромной, что, казалось, вот-вот раздавит меня.

Я смотрела на огни и думала: без него всё это — просто огни. Просто свет в темноте. Я не вижу смысла ни в чём, если его нет рядом. Ни в долине, ни в Баобабе, ни в себе. Только в нём — всё, что имеет значение. Только в нём — моя жизнь.

Глава 4

Юра

Оглядываясь назад, я понимаю: мне дали всё. По сравнению с другими детьми — я был, наверное, счастливчиком. Дорогие игрушки, каких не было ни у кого во дворе. Огромная квартира, в котором я знал не все комнаты. Машины, няни, репетиторы, секции, лучшая школа, развлечения, путешествия. У меня было столько, сколько большинству и не снилось. Только вот тепла в этом списке не было ни на копейку. Никто не обнял меня просто так, без повода. Никто не посмеялся над моими шутками — над ними вообще смеяться было некому. Мой рисунок, который я притащил матери, она использовала как черновик для чужого номера телефона. И знаете что? Я не жалуюсь. Мне плевать. Просто иногда я думаю: может, поэтому я не способен любить? Может, во мне просто не выросло то, из чего она делается, — потому что никто не удосужился посадить? И поэтому я всем причиняю боль. Не потому, что хочу, — а потому, что не умею иначе. Я не знаю. Но иногда мне кажется, что это так.

Мать была рядом — физически. Иногда возила меня на занятия, покупала одежду, следила, чтобы я ел. Но между нами всегда было что-то вроде стекла. Я видел её, она видела меня, но тепла не было. Я не помню, чтобы она когда-нибудь

обняла меня просто так, без повода. Не помню, чтобы она смеялась над моими шутками. Не помню, чтобы она скучала.

Лет до десяти она иногда смотрела на меня странно. Я не понимал этого взгляда — изучающего, настороженного, будто она искала в моём лице что-то, чего не хотела находить. Могла долго смотреть, а потом отвернуться, будто спохватившись. Я тогда думал, что сделал что-то не так. Может, испачкался, может, сказал глупость. Может, просто был не тем, кем она хотела меня видеть. Теперь я считаю, она смотрела на меня так, потому что с возрастом все больше видела во мне отца. Человека, которого, как я теперь понимаю, она никогда не любила. А я был его живым напоминанием, которое она не могла от себя отогнать.

С отцом дела обстояли иначе. Мать была равнодушна, но хотя бы не лезла. Отец лез всегда. Он не просто наблюдал за мной — он меня строил. Как строят дом: по плану, по смете, с чёткими сроками сдачи. Бокс — чтобы умел держать удар. Учёба — чтобы знал, как считать деньги. Дисциплина — чтобы не расслаблялся. Он никогда не спрашивал, чего хочу я. Он спрашивал, что я сделал, чтобы стать лучше.

Я не помню, чтобы он хвалил меня просто так. За оценки — «молодец, продолжай». За победу на ринге — «неплохо, но можно лучше». За что-то ещё — молчание. Он всегда смотрел на меня так, будто я недорабатываю. Будто я — черновик, который всё никак не станет чистовым вариантом.

Однажды, лет в шесть, я принёс ему свой рисунок. Не

помню, что на нем было изображено, но помню, что рисовал его два дня. Он взял лист, посмотрел секунду и сказал: «Это несерьёзно, Юра. Мужчина должен заниматься делом». И вернул мне рисунок. Я больше не рисовал. Мать хотя бы откладывала в сторону — он возвращал с приговором.

Он никогда не бил меня. Ни разу. Но иногда я ловил себя на мысли, что избиение переносить было бы легче. Синяки заживают. Кровь смывается. А взгляд — он остаётся. Этот его взгляд — требовательный, ждущий, и в то же время разочарованный, будто я всё время чуть-чуть не дотягиваю. Он хотел, чтобы я был лучшим. Но, по-моему, он никогда не верил, что я им стану.

Он смотрел на меня так всегда. Не только когда я проигрывал на ринге — хотя проигрывал я редко, но каждый раз, когда не занимал первого места, его взгляд становился особенно тяжёлым. Нет, он смотрел так и когда я побеждал. Когда я избивал кого-то в школе — а я избивал часто, потому что был тем ещё бунтарем, — он смотрел на меня точно так же. Разочарованно. Требовательно. Будто я опять сделал что-то не то. Или сделал что-то не так.

Я не понимал, чего он хочет. Побеждать — плохо. Проигрывать — плохо. Драться — плохо. Не драться — тоже. Я смотрел на него и не мог понять, что мне сделать, чтобы он хотя бы раз посмотрел на меня иначе. Чтобы в его глазах появилось что-то, кроме этого вечного «ты мог лучше».

Я был тем еще трудным подростком. Это правда. Я драл-

ся, прогуливал, срывал уроки, доводил учителей. Меня вызывали к директору, звонили отцу. Он приезжал — всегда в костюме, всегда спокойный, всегда с этим своим взглядом. Он не кричал. Он просто смотрел на меня, и от этого взгляда мне хотелось провалиться сквозь землю. А потом он говорил: «Мы поговорим дома». И дома мы говорили. Точнее, говорил он. Я молчал.

Я не знаю, почему я такой. Серьёзно. Иногда я смотрю на отца — сдержанного, собранного, всегда знающего, чего он хочет, — и думаю: в кого я? Он никогда не повышает голос. Никогда не срывается. Никогда не делает глупостей. А я — наоборот. Всё наоборот. Я срываюсь, я делаю глупости, я не могу остановиться, когда внутри закипает. Я не знаю, откуда это во мне. Может, это просто я. Такой, какой есть. И от этой мысли мне становится противно.

Порой я не хочу быть таким. Правда не хочу. Я смотрю на себя со стороны — и мне хочется отвернуться. Но я не знаю, как измениться. Не знаю, что для этого нужно. Может, какая-то другая жизнь. Может, другие люди рядом. Может, что-то, чего у меня никогда не было. Я не знаю. И от этого — от собственного бессилия — мне становится ещё противнее. А больше всего на свете я ненавижу чувствовать себя слабым. Ненавижу. Это чувство хуже всего остального. Хуже злости, хуже пустоты, хуже похмелья. И именно его — это бессилие, это «я не знаю, как» — оно заставляет меня чувствовать себя так, будто я снова тот мальчишка, который

стоит перед отцом и ждёт, что его опять отчитают. Только теперь я сам себя отчитываю. И это, наверное, самое паршивое.

После школы отец отправил меня в престижный вуз. Не в тот, куда я хотел, — а в тот, который он считал правильным. Бизнес, экономика, управление. Всё серьёзно, всё солидно, всё как надо. Он говорил: «Получишь образование, потом возглавишь фирму. Я в твои годы…»

Я не преуспел. Не потому, что не мог — просто было скучно. Лекции, семинары, эти бесконечные графики и таблицы. Я сидел на заднем ряду, смотрел в телефон, ждал, когда всё это закончится. Я не учился. Я заводил знакомства — но не те, которые одобрил бы отец. Я водился с такими же, как я, — с детьми богатых родителей, которым тоже было скучно. Мы прогуливали, тратили деньги, устраивали вечеринки. Я был там своим. Но и там я не был счастлив.

Одна девчонка из богатой семьи забеременела. От меня. Пришлось всё улаживать: клиника, деньги, извинения перед её отцом. Помню, как её отец смотрел на меня — так же, как мой. Требовательно. Разочарованно. Будто я — ошибка в его расчётах. Я стоял и молчал, а он говорил, и я чувствовал себя маленьким. Тогда я впервые понял, что отец, наверное, прав. Что я — проблема. Что я не умею жить так, как надо.

Отец забрал меня из вуза. Сказал: «Хватит. Будешь работать. Под присмотром». Мы вернулись в наш город, и я начал числиться в его фирме. Это было два года назад. С тех пор я

не сделал ничего, что можно было бы назвать успехом. Но и ничего, что можно было бы назвать катастрофой. Я просто есть. Числюсь. И жду, когда отец снова посмотрит на меня своим взглядом — требовательно и разочарованно. Как всегда.

Квартира, в которой я живу, — его подарок. На двадцатилетие. Формально она принадлежит ему, но ключи у меня. Двести квадратов, панорамные окна, вид на реку, полы с подогревом, кухня, которую я ни разу не использовал по назначению. Мрамор, встроенная техника, светильники, которые включаются голосом. Огромный диван, на котором я сплю, потому что кровать в спальне слишком большая для одного.

Я не знаю, нравится ли мне всё это. Серьёзно. Я живу здесь два года и до сих пор не могу понять: это мой дом или витрина? Всё слишком новое, слишком гладкое, слишком правильное. Я не выбирал ни диван, ни плитку в ванной, ни эти дурацкие картины с абстрактными пятнами. Всё выбрал дизайнер, которого нанял отец. Я просто пришёл и начал жить. Или делать вид, что живу.

Этим утром я чувствую себя паршиво. Не то чтобы похмелье — я вчера не пил. Просто паршиво. Как будто внутри что-то тяжёлое, и оно давит, давит, давит.

Вчера меня допрашивали. Сидел в кабинете, смотрел в стол, слушал вопросы. «Где вы были в ночь с…», «Вы ударили гражданина…», «Вы осознаёте…». Я отвечал. Спокойно, как учил отец. Не грубил, не срывался. Но внутри всё кипе-

ло. Я не привык к таким разговорам. Обычно я платил, и всё заканчивалось. А тут — не взяли. Принципиальные, блин. На этот раз проблем не удалось избежать. У того парня, которому я пробил башку, папаша — адвокат. Со связями. С видео, где я бью его сына. Им деньги не нужны. Им нужно, чтобы я ответил.

Отец вытащил меня под залог. Вечером вызвал к себе — не в офис, а в дом, в кабинет. Смотрел на меня, и я видел, что он устал. Не от работы — от меня.

— Это последняя капля, — сказал он. — Ещё один такой выкидон — и ты останешься без всего. Без квартиры. Без машины. Без денег.

Я кивнул. Не спорил. Спорить с ним бесполезно.

А теперь сижу на своём огромном диване в своей идеальной квартире, смотрю в потолок и чувствую себя паршиво. Не из-за отца. Не из-за залога. А из-за того, что я опять. Опять не сдержался. Опять полез в драку. Опять заставил отца краснеть. Я знаю, что он сделает то, что говорит. Лишит всего. И я знаю, что заслужил. Но легче от этого не становится.

И вот тут я решаю: хватит. Пора взяться за голову. Контролировать себя. Начать нормально работать на фирме отца — не числиться, а делать. Потому что перспектива лишиться всего — квартиры, машины, денег — мне, честно говоря, совсем не нравится.

Я выхожу из подъезда пораньше — впервые за долгое вре-

мя. Утро серое, город ещё не проснулся толком, и на парковке почти пусто.

Машина ждёт меня там, где я её оставил. Белый Mercedes-AMG G 63 — квадратный, брутальный, с чёрными дисками и красной строчкой в салоне. Пятьсот восемьдесят пять лошадей под капотом. Разгон до сотни — четыре с чем-то секунды, хотя мне это ни к чему: в городе негде разогнаться, а на трассе я бываю редко. Восемь цилиндров, двойной турбонаддув, звук, от которого у прохожих сворачиваются шеи. Стоит эта игрушка, как трехкомнатная квартира в спальном районе.

Я сажусь за руль, и кожа Nappa с ромбовидной прострочкой скрипит подо мной. Пахнет дорого — не то чтобы приятно, просто дорого. Как в магазине, где ты не будешь ничего покупать, но тебе всё равно дадут понюхать.

Я завожу двигатель. Он урчит — низко, сыто, довольно. Я выезжаю с парковки, и тут же ловлю на себе взгляд. Какой-то мужик с телефоном сворачивает шею, провожая меня глазами. На светофоре рядом останавливается «Лада» — парень за рулём показывает пальцем, что-то говорит своему пассажиру. Я отворачиваюсь. Меня это бесит. Эта машина — как магнит для идиотов. Люди фоткаются с ней, будто это памятник. Показывают пальцем, снимают на телефон, просят «сфоткать». Я не люблю внимание. Точнее, я привык к нему, но не люблю, когда оно такое — тупое, восторженное.

Я прибавляю газу. Машина рычит и уходит вперёд, остав-

ляя позади и «Ладу», и мужика с телефоном, и весь этот утренний цирк. На секунду становится легче. На секунду кажется, что я и правда могу что-то изменить. Начать работать. Контролировать себя. Не быть тем, кем я себя сделал.

А потом светофор краснеет, и я останавливаюсь. И снова ловлю взгляд. Снова кто-то смотрит. Снова эта машина, эти двадцать квадратов роскоши, которые мне не принадлежат. Я вздыхаю и жду зелёного. Осталось доехать до офиса. Всего несколько кварталов.

Я подъезжаю к главному офису и паркуюсь на своём месте — у самого входа, под табличкой «Руководство». Место мне не нравится: слишком на виду, слишком демонстративно. Но отец сказал: «Ты — лицо фирмы. Будь на виду».

Здание — шесть этажей стекла и бетона, построенное по всем канонам нового времени. Прямые линии, панорамное остекление, светодиодная подсветка по фасаду, которая вечером переливается всеми оттенками синего. Внутри — всё, что нужно современному офису: открытые пространства, переговорные со стеклянными стенами, кофейня на первом этаже, столовая на втором, тренажёрный зал в подвале и даже небольшой бассейн — «для здоровья сотрудников», как сказал отец, когда всё это строилось. Я тогда усмехнулся: бассейн в офисе строительной компании. Но отец считает, что так надо. «Люди должны чувствовать, что о них заботятся. Тогда они работают лучше».

Я выхожу из машины, и охранник у входа — молодой па-

рень в форме, который явно знает, кто я, — кивает мне с уважением. С таким уважением, что хоть на доску почёта вешай. Я киваю в ответ. Мы оба знаем: он здесь дольше меня, и он на своём месте, а я — нет.

В холле пахнет дорогим кофе и новым пластиком. Сотрудники снуют туда-сюда с бумагами и ноутбуками. Кто-то здоровается со мной — «Юрий Андреевич», — и в голосе столько почтения, что хоть сейчас в министры. Все они так делают. Всегда. С той самой улыбкой, с тем самым кивком, с той самой интонацией. Но я знаю, что они думают на самом деле. Я вижу это по глазам — короткий взгляд, в котором нет ни капли уважения. Только презрение. Или жалость. Или, что хуже, равнодушие: «А, это сынок хозяина. Опять пришёл. Ну-ну».

Я привык. Я всегда это знал. С самого первого дня, как сюда пришёл. Но сегодня почему-то это задевает сильнее обычного. Может, потому что я и правда решил начать. Может, потому что мне впервые хочется, чтобы кто-то посмотрел на меня и увидел не сына хозяина, а что-то ещё.

Я поднимаюсь на лифте на шестой этаж, в свой кабинет. Кабинет небольшой — по сравнению с отцовским, но всё равно приличный: стол, кресло, пара шкафов, окно с видом на город. Я сажусь за стол и понимаю, что за всё время ра-

боты в фирме я провёл здесь, наверное, неделю. Не больше.

Сегодня я решаю начать. По-настоящему. Не для отца. Для себя. Я включаю компьютер, открываю папку с документами — и не понимаю половину того, что там написано. Цифры, графики, отчёты. Я смотрю на это и чувствую, как во мне снова поднимается то самое бессилие. Но я говорю себе: стоп. Ты уже решил. Ты попробуешь.

Я беру телефон и звоню начальнику отдела — тому самому менеджеру, на которого обычно ору. Он берёт трубку после второго гудка.

— Пётр Геннадьевич? — Я замолкаю. Он тоже молчит, явно ждёт подвоха. — Слушайте… я тут посмотрел отчёты за прошлый квартал…, — Я не хочу признавать что не понимаю, как это работает и что мне нужна помощь, поэтому просто прошу его зайти ко мне.

Тишина. Потом осторожное:

— Конечно, Юрий Андреевич. Сейчас подойду.

Я кладу трубку и выдыхаю. Начало положено. Глупое, неловкое начало. Но всё же.

Несколько часов проходят как в тумане. Я сижу над отчётами, и половина цифр сливается в одно сплошное пятно. Пётр Геннадьевич оказывается на удивление терпеливым. Он объясняет мне, что такое оборачиваемость склада и почему она падает, когда на площадке застревает партия кирпича. Что себестоимость — это не просто «сколько потра-

тили», а целая история про сырьё, энергию, амортизацию и брак. Что есть логистическое плечо, условия отгрузки и дебиторская задолженность, которую кто-то должен контролировать, а не просто «ждать, когда заплатят». Я киваю, записываю, переспрашиваю. Иногда мне кажется, что я понимаю. Иногда — что ни черта не понимаю, и все эти слова — просто набор звуков, за которыми скрывается целая жизнь, прошедшая мимо меня.

К трём часам дня у меня болит голова, глаза слипаются, а в животе урчит — я даже не пообедал. Оказывается, работать — это утомительно. Кто бы мог подумать.

Я как раз пытаюсь разобраться в очередной таблице, когда дверь кабинета открывается без стука. Секретарша — молодая, с вечной улыбкой и идеальной осанкой — заглядывает ко мне.

— Юрий Андреевич, — говорит она, — вас вызывает Андрей Викторович. В свой кабинет.

Я замираю.

— Сейчас? — спрашиваю я, хотя ответ очевиден.

— Да, — она улыбается ещё шире. — Сказал, чтобы вы зашли.

Дверь закрывается. Я остаюсь сидеть, глядя в экран, но ничего не вижу.

Зачем? Мы же всё обсудили вчера. Всё, что можно было сказать, он сказал. Всё, что я должен был понять, я понял. Или не понял? Может, он хочет добавить что-то ещё. Мо-

жет, он передумал и хочет лишить меня всего прямо сейчас. Может, ему доложили, что я опять что-то сделал — хотя я ничего не делал. Я вообще вчера никуда не выходил, кроме дежурной части и отцовской квартиры. И сегодня весь день тут. Работаю. Пытаюсь.

Я не хочу идти. Честно. Не хочу снова стоять перед ним, слушать его голос, ловить этот взгляд — требовательный, разочарованный. Я не готов. Я ещё не сделал ничего, что можно было бы предъявить. Я только начал. Мне нужно время. Мне нужно хотя бы несколько дней, чтобы показать, что я могу. А он вызывает меня уже сейчас.

Я встаю. Поправляю рубашку. Иду к лифту.

Я поднимаюсь на шестой этаж. Лифт останавливается, двери разъезжаются, и я выхожу в коридор, где пахнет свежесть и чем-то неуловимо-казённым, вроде бумаги и принтера. За столом у дверей отцовского кабинета сидит секретарша — не та, что была раньше, а новая, черноволосая, с острым взглядом и тонкими губами. Она поднимает на меня глаза, узнаёт и говорит без всякой улыбки:

— Юрий Андреевич, вас ждут.

Я киваю. И иду к двери. С тяжёлыми мыслями, с пустой головой, с ощущением, что меня сейчас опять будут отчитывать за что-то, чего я ещё не сделал.

Открываю дверь.

Отец сидит за столом. Но он не один.

На кожаном диванчике у окна — Данил. Этот светлово-

лосый сукин сын, со своей голливудской улыбкой. Он сидит в расслабленной позе, закинув ногу на ногу, с чашкой кофе в руке, и что-то говорит отцу. Отец слушает. И — я вижу это сразу, с порога — смотрит на него так, как никогда не смотрел на меня. С интересом. С одобрением. Будто Данил говорит что-то важное, а он, отец, ловит каждое слово.

Данил у нас начальник отдела развития. Окончил вуз с отличием, пришёл в фирму три года назад, и с тех пор только и слышно: «Данил предложил», «Данил сделал», «Данил молодец». Он делает большие успехи. Он подаёт надежду. Он — тот самый сын, которого хотел бы иметь мой отец.

Я захожу. Они оба поворачиваются ко мне — и на секунду мне кажется, что я помешал. Что они болтали о чём-то важном и непринуждённом одновременно, и моё появление всё испортило.

— Юра, — говорит отец. — Заходи.

Данил встаёт. Улыбается — широко, открыто, так, что хоть в рекламе снимай.

— Юрий Андреевич, — говорит он и кивает. С уважением. Как все. Как всегда.

Но мне кажется, что он смотрит на меня свысока. Хотя ниже меня и ростом и по статусу. Он всего лишь начальник отдела, а я сын хозяина. И вообще он только встал с дивана. Всё равно — свысока.

Я киваю в ответ. И прохожу к столу. А про себя думаю: вот он. Идеальный. Любимый. Тот, кто не разочаровывает. И

я ненавижу его за это. Ненавижу за то, что он есть. За то, что он такой. За то, что отец смотрит на него так, как никогда не смотрел на меня. И мне хочется врезать ему. Прямо сейчас. По этой его голливудской улыбке. Чтобы она наконец слетела с его лица.

— Садись, Юра, — говорит отец и кивает на кожаный стул напротив стола.

Я сажусь и смотрю на него. Отец — мужчина средних лет, но выглядит он так, будто время над ним не властно: подтянутый, сухой, без единого лишнего движения. В хорошей форме — видно, что находит время на себя, несмотря на постоянную занятость. Рубашка сидит идеально, галстук затянут ровно, ни складки, ни пятнышка. Гладко выбрит, коротко подстрижен — седина ещё не тронула виски, а если и тронула, он её закрашивает. Солидный. Чуточку грозный. Как и положено владельцу крупного бизнеса.

На его переносице шрам, едва заметный, но я вижу его. Я помню его с детства — сколько себя помню, столько и его. Он не портит отца, даже наоборот: придаёт лицу что-то такое, от чего люди невольно говорят тише. И знаете, что самое забавное? Этот шрам оставил ему друг. Друг детства. Тот, которого теперь нет в живых. Я не знаю подробностей, даже не помню откуда я об этом знаю. Но иногда, глядя на эту белую полоску, я думаю: вот так ирония. Человек, который всю жизнь строит из себя неприступную крепость, носит на лице отметину от того, кто когда-то был ему близок.

Стул мягкий, удобный, но мне кажется, что я сажусь на иголки. Я жду, что отец сейчас скажет Данилу: «Спасибо, ты свободен», — и мы наконец поговорим наедине. Как вчера. Как всегда.

Но отец не говорит. Он откидывается в кресле и произносит:

— Я кое что решил. Хочу, чтобы ты меня выслушал.

Я киваю.

— А он так и будет тут стоять? — спрашиваю я, замечая, что Данил все еще здесь.

— Мы с ним ещё не закончили, — произносит отец ледяным, не терпящим возражения, голосом.

Я замираю. Неужели он собирается отчитывать меня при этом сукином сыне? При Даниле, который стоит с этой своей голливудской улыбкой и делает вид, что он тут просто мебель? Во мне поднимается злость — на отца, на Данила, на себя. Особенно на себя. Потому что я ничего не могу сделать. Ни встать и уйти. Ни сказать «не при нём». Ничего. Мне остаётся только сидеть и смотреть, как они оба — отец и этот идеальный Данил — разыгрывают спектакль, в котором мне отведена роль проблемного сына.

Отец начинает. И — странно — говорит сдержаннее, чем обычно. Не потому ли что здесь этот «сын мечты»?

— Сегодня ко мне заходил Пётр Геннадьевич…

И тут до меня доходит. Пётр. Тот самый Пётр, который несколько часов объяснял мне, что такое оборачиваемость

склада и дебиторская задолженность. Он всё рассказал. Всё, что я не знал. Всё, что я, как сын владельца, и помощник генерального директора, должен был знать давно. Он посвятил отца в те вещи, которые я должен был понимать с закрытыми глазами, но не понимал.

— Я долго думал, — продолжает отец. — И решил, что тебе надо начать изучать дело с низов. По-настоящему. Не в кабинете, а там, где всё происходит. Твоё место временно займёт Данил. А ты… — он делает паузу, — ты пойдёшь менеджером на одну из торговых баз. Начнёшь с продаж, с клиентов, с поставок. Поймёшь, как всё устроено изнутри.

Я не верю своим ушам. Менеджером на базе. С низов. Я — сын владельца. Я — наследник. И меня отправляют туда, где работают люди, которых я даже не знаю по именам.

— Ты серьёзно? — говорю я, и голос звучит глуше, чем хотелось бы.

— Абсолютно, — отвечает отец.

Я смотрю на него и чувствую, как внутри всё кипит. Хочется встать, хлопнуть дверью, наорать, сказать, что я не буду. Но я не могу. Потому что знаю: он лишит меня всего. И я останусь ни с чем. И буду ещё большим ничтожеством, чем сейчас. Я бессилен. И это бессилие — оно хуже всего.

А потом Данил — этот идеальный, любимый Данил — говорит:

— Я могу помочь. Если Юрий Андреевич не против, я подтяну его по документам, объясню, как всё устроено. Мне

не сложно.

И отец — отец! — отвечает с энтузиазмом, которого я не слышал от него никогда:

— Вот это дело. Спасибо, Данил. Юра, ты слышишь? Учись, пока дают.

Я слышу. Я всё слышу. И мне хочется врезать не только Данилу, но и отцу. И себе. За то, что я здесь. За то, что я такой. За то, что я не могу ничего изменить.

— Сегодня сделаю все нужные распоряжения, — продолжает отец. — Секретарша отправит тебе адрес базы. Выходишь с завтрашнего дня. Менеджером. — Он делает паузу и смотрит на меня в упор. — И я буду проверять. Каждый день. Чтобы ты был на своём рабочем месте. Не опаздывал. Не прогуливал. Не устраивал никаких выходок. Понял?

— Понял, — говорю я.

— На сегодня ты свободен. Можешь идти. — Он отворачивается к бумагам, будто меня здесь больше нет. И добавляет, не глядя: — И чтобы впредь без выходок. Я серьёзно, Юра.

Я встаю. Чувствую себя ничтожеством. Полным, абсолютным ничтожеством. Словно меня только что выпороли — при свидетеле, при этом идеальном Даниле, который всё это время стоял и смотрел. И даже не смотрел — присутствовал. И этого было достаточно.

Я иду к двери. И тут Данил — этот сукин сын — хлопает меня по плечу. Ободрительно. По-дружески. Будто мы при-

ятели. Будто он мне помогает. Будто он не занял моё место.

— Не переживайте, Юрий Андреевич, — говорит он с этой своей улыбкой. — Прорвёмся.

Я не отвечаю. Просто выхожу. Закрываю за собой дверь. И останавливаюсь в коридоре, чувствуя, как внутри всё горит.

Я хотел взяться за работу. Я хотел начать. Я решил, что с сегодняшнего дня всё будет иначе. Я пришёл пораньше, сидел над отчётами, звонил этому предателю, Петру, превозмогая стыд и унижение, пытался понять. И что в итоге? Меня отправили на базу. Меня заменили Данилом. Меня отчитали при нём, как мальчишку. И даже не дали шанса показать, что я могу.

Я иду по коридору, и мне кажется, что стены сжимаются вокруг меня. Я хотел быть аккуратным. Не связываться больше с дилерами. Не связываться с Ликой, этой вечно обдолбаной шлюхой. Не лезть в драки. Я так решил. Утром. Серьёзно. По-настоящему.

А теперь я стою в этом дурацком коридоре и понимаю, что мне самому нужна доза. Просто чтобы перестать чувствовать себя так. Просто чтобы на несколько часов перестать быть собой.

Глава 5

Надя

Результаты экзаменов пришли в пятницу. Я открыла сайт, ввела свои данные, пробежала глазами по строчкам — и выдохнула. Хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Бабушка всплеснула руками, дедушка сказал: «Ну, вот и умница», — и полез в холодильник за чем-то, потому что, по его мнению, полагалось праздновать. А я стояла посреди кухни с телефоном в руках и думала: надо же. Сдала. А ведь я почти не думала об экзаменах. Совсем не думала. Все мои мысли были заняты другим — тем, что должно случиться через две недели.

До выпускного осталось меньше четырнадцати дней. До моего дня рождения — столько же.

В доме теперь только и разговоров, что о платье. Бабушка говорит, что надо ехать в город, в торговый центр, и выбирать как следует — «чтобы не как у всех, а чтобы наша Надя была краше всех». Дедушка ворчит, что ехать далеко, что можно и в Покровском посмотреть, но бабушка стоит на своём: «В Покровском одно старьё, а ты хочешь, чтобы внучка на выпускном в старье была?» Дедушка вздыхает и сдаётся. Завтра или послезавтра поедем.

Наш класс уже определился с кафе — в городе, недалеко

от набережной. Все девчонки только об этом и говорят в чате: кто с кем идёт, кто что надевает, кто уже записался на причёску. Мне тоже хочется повеселиться — но по другой причине. Мой выпускной выпадает на мой день рождения. Для бабушки с дедушкой это двойной праздник, но и повод для волнения. Их внучка станет совсем взрослой. Взрослой — значит, той, которая скоро уедет. Той, которую они не смогут больше опекать, оберегать, прятать от мира. Они не говорят об этом вслух, но я вижу. По тому, как бабушка дольше обычного смотрит на меня за ужином. По тому, как дедушка замолкает, когда речь заходит о городе. По тому, как они оба вздрагивают, когда я говорю «когда я уеду». Они боятся. И я их понимаю.

Но может, этого не произойдет. Может, я не уеду. Очень скоро я скажу Саше всё — и всё изменится. Он посмотрит на меня не как на соседскую девчонку, а как на ту, без которой не сможет жить. И тогда мне не придётся никуда уезжать. Я останусь здесь. С ним. С бабушкой и дедушкой. И их страхи растворятся сами собой, потому что я буду рядом — всегда.

Я ведь до сих пор не решила, куда поступать. Совсем не решила. И, честно говоря, не думала об этом. Мне всегда казалось, что я останусь здесь. Что выйду за Сашу, и мы заживём в Высоком. Что он построит для нас дом, большой и двухэтажный. Дедушка с бабушкой будут приходить к нам в гости. И тетя Наташа тоже. Наши дети будут бегать по двору… И все родное и близкое будет рядом. Мысль о том, что-

бы покинуть это, разорвать эту тонкую нить, которая держит меня здесь, кажется мне болезненной. Такой болезненной, что я гоню её от себя. Потом. Всё потом. Сейчас — платье, выпускной, признание. А поступление — потом.

Может быть, это наивно. Может быть, взрослые так не думают. Но я всё равно думаю. И буду думать, пока не скажу ему всё. А потом — что бы ни случилось — я буду знать, что попробовала.

Дома все заняты. Бабушка варит варенье — из самой ранней ягоды, жимолости, сбором которой мы вчера занимались весь день. Дедушка в сарае, чистит курятник, а Саша — возится грузовиком. (Он вернулся на следующий же вечер, после своего внезапного отъезда). И я им завидую. У всех есть дела, все при месте, все что-то делают. А я слоняюсь по двору, как неприкаянная, и не знаю, куда себя деть. Вот и остаётся одно — качели. Я сажусь и тихонько раскачиваюсь, смотрю в небо, и думаю, думаю. О нём. О нас. О том, как всё будет.

Я так задумываюсь, что не сразу замечаю машину. Она останавливается возле нашего двора — большая, тёмная, блестящая, похожая на тех, что я видела в городе, когда мы изредка ездили туда. Из машины выходит мужчина.

Он немолодой, но и не старый. Высокий, подтянутый, в рубашке и тёмных брюках. Гладко выбрит, коротко подстрижен. У него такой вид, будто он привык, что его слушаются. Я думаю: наверное, хочет спросить дорогу. Или кого-то

ищет. Дедушка с бабушкой заняты, я подхожу к калитке сама.

Мужчина смотрит на меня — странно. Долго. Будто я — что-то, чего он не ожидал увидеть. Или, наоборот, ожидал, но всё равно не был готов. Я не понимаю этого взгляда. Мне становится немного не по себе.

— Здравствуй, Надя, — говорит он.

Я удивляюсь. Откуда он знает моё имя? Я начинаю всматриваться в него внимательнее. В лицо, в глаза, в эти черты и замечаю шрам — тонкий, белый, на переносице. Едва заметный, но я его вижу. Однако этот человек мне совершенно незнаком.

— Откуда вы меня знаете? — спрашиваю я.

Он улыбается — коротко, одними губами. И говорит:

— Я твой дядя. Андрей.

И тут я вспоминаю. В детстве, пару раз, к нам приезжал какой-то мужчина. Я тогда была совсем маленькой, но помню, как дедушка выходил во двор, и они о чём-то говорили — громко, на повышенных тонах. А потом мужчина уезжал. Я слышала краем уха, что у меня есть дядя по линии отца, но дедушка говорил, что он плохой человек. Что его нельзя пускать. И каждый раз, когда тот приезжал, дедушка его прогонял.

Я не успеваю ни о чём толком подумать — ни испугаться, ни удивиться как следует, — как он продолжает:

— Я знаю, что ты меня не помнишь, — говорит он. — И

знаю, что дедушка твой мне не рад. Но я приехал не переубеждать его. Я приехал познакомиться с тобой.

Он говорит ещё что-то — про то, что знает, что у меня скоро день рождения, что я его совсем не знаю, но могу ему доверять. Я слушаю и не слышу. В голове шумит.

— Прежде всего, запиши мой номер, — говорит он. — Потому что, боюсь, нам могут не дать поговорить…

Я машинально достаю телефон. Пальцы дрожат, и я едва попадаю по экрану. Он диктует — медленно, чётко, по цифрам, — и я ввожу их одну за другой, будто под гипнозом.

— Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, — говорит он, когда я заканчиваю, — что угодно, — звони. В любое время. С любой просьбой. Поняла? В любое время. С любой просьбой.

Я киваю. Телефон в моей руке всё ещё дрожит.

— Как ты похожа на свою маму, — затем произносит он, и голос у него вдруг меняется. Становится мягче, тише, будто он говорит это не мне, а самому себе. — Господи, как же ты на неё похожа…

Я стою и не знаю, что сказать. Что я должна чувствовать? Радость? Грусть? Мне никогда не говорили, что я похожа на маму. А у нас почти нет ее фотографий, только детские, как что я не знаю похожа я на нее или нет… Бабушка иногда обмолвливалась — «мамины волосы», «мамина улыбка», — но всегда как-то вскользь, будто случайно. А тут — мужчина, которого я не знаю, стоит и смотрит на меня так, будто уви-

дел привидение. И в его глазах столько всего, что я не могу разобрать: и нежность, и боль, и что-то ещё, тяжёлое, старое.

— Я присылал тебе подарки, — говорит он вдруг. — На каждый день рождения. На каждый праздник. Куклы, книжки, что-то ещё… Но, — он горько усмехается, — думаю, тебе их не передавали.

Я хочу спросить, о чём он, но не успеваю.

— Надя! — Голос Саши раздаётся совсем близко. Я оборачиваюсь. Он идёт к нам быстрым шагом, вытирая руки о тряпку, и лицо у него напряжённое. — Всё в порядке?

Все это время Саша возился с грузовиком возле двора и, очевидно, обратил внимание, что я говорю с незнакомым мужчиной дольше, чем следовало говорить с человеком, который хотел спросить дорогу.

— Не знаю, — говорю я. И это, наверное, самый честный ответ, который я могу дать.

Он останавливается рядом со мной, чуть впереди, будто заслоняет. Смотрит на мужчину — прямо, твёрдо. Мужчина смотрит на него. Между ними что-то проносится — я не понимаю что. Что-то такое, от чего воздух становится гуще.

И тут выскакивает дедушка. Наверное, он увидел машину из окна в сарае. Лицо у него красное, глаза горят, руки трясутся.

— Ты! — кричит он, и голос срывается. — Ты чего приехал?! Я же тебе сказал — не появляйся здесь! Не смей к ней подходить! Убирайся!

Он бежит к калитке, размахивая руками, и мне кажется, что он сейчас ударит его. Дядя — Андрей — не двигается. Он стоит спокойно, смотрит на дедушку, и в его взгляде нет ни злости, ни страха. Только что-то тяжёлое, усталое. Он будто ждал этого.

— Я не ссориться приехал, — говорит он тихо. — Я просто хотел её увидеть.

— Увидел? — орёт дедушка. — А теперь уезжай! И чтобы духу твоего здесь больше не было! Слышишь?! Никогда!

Дядя Андрей смотрит на меня ещё раз. Долго. И говорит — медленно, чётко, так, чтобы я запомнила:

— Запомни, Надя. С любой просьбой. В любое время.

Он садится в машину. И уезжает — медленно, не спеша, будто давая мне время усвоить его слова.

А дедушка стоит, весь трясётся, и смотрит на меня так, будто я что-то сделала. Будто это я виновата.

— Что это значит? — спрашивает он, и голос у него дрожит. — Что он имел в виду — «в любое время, с любой просьбой»? А?

Я молчу. Не знаю, что сказать.

— Он дал мне свой номер, — говорю я наконец.

— Удали, — говорит дедушка. Резко, жёстко. — Слышишь? Удали и не смей ему звонить. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поняла?

Я киваю. Но не удаляю. Не могу. Пальцы не слушаются.

Дедушка уходит в дом. Он идёт медленно, ссутулившись,

и я вижу, что ему плохо. Не просто плохо — ему худо. Он держится за сердце, и бабушка выбегает к нему, и что-то говорит, и уводит его. А я остаюсь стоять у калитки. С телефоном в руке. И смотрю на Сашу.

Он смотрит на меня в ответ. Долго. Будто сам хочет понять, что я думаю. Будто пытается прочитать это по моему лицу. Но я и сама не знаю, что думаю. У меня в голове сейчас такой же беспорядок, как у него во дворе: брёвна, доски, песок, и всё это перемешано, и ничего не понятно. Я смотрю на него и жду — сама не знаю чего. Может, что он скажет что-нибудь. Может, что он объяснит мне то, чего я не понимаю. Может, просто что он будет рядом.

Он не говорит ничего. Просто стоит и смотрит. И в его взгляде столько всего, что я не могу разобрать: и вопрос, и настороженность, и что-то ещё, тёплое, будто он хочет подойти, но не решается.

Потом Саша делает шаг. Осторожно, будто подходит к чему-то хрупкому.

— Ты точно в порядке? — говорит он тихо.

Я киваю. Хотя не в порядке. Совсем не в порядке. Но что я могу сказать? Что я не знаю, что чувствую? Что у меня в кармане телефон с номером мужчины, которого дедушка велел забыть? Что я боюсь того, что могу узнать, и одновременно хочу узнать это?

— Да, — говорю я. — Всё нормально.

Он смотрит на меня ещё секунду. Будто не верит. Будто

хочет остаться. Но потом кивает — коротко, будто соглашаясь с чем-то своим.

— Ладно, — говорит он. — Мне надо грузовик доделать. Нужно смотаться в город кое за каким материалом, пока дождь не пошел.

Он поворачивается и идёт к своему двору. Я смотрю ему вслед. И чувствую, как что-то внутри меня тянется за ним — хочет пойти, хочет сказать, хочет остаться рядом. Но я не иду. Стою.

А он уходит. И вскоре я слышу, как под грузовиком снова что-то стучит, звякает, и его голос что-то бормочет себе под нос.

…

Мне никогда особо не было интересно прошлое моей матери. Странно, наверное. Все дети спрашивают, а я — нет. Я знала только то, что она умерла при родах. Что отца я тоже не знаю — он умер, но я не знала, от чего. Знала, что для бабушки с дедушкой это болезненная тема. Что они не хотят об этом говорить. Что они боятся — боятся, что я повторю её судьбу.

А теперь — после этого мужчины, после его слов, после его взгляда — я вдруг понимаю, что не могу перестать об этом думать. Меня задело. Задело так, что я хочу знать. Не потому, что это важно или нужно, — а потому, что любопытство вдруг проснулось и не даёт мне покоя.

Весь остаток дня я провожу в раздумьях. Дедушке стало

совсем плохо. Бабушка поила его таблетками и я не решилась с ними поговорить. Они делают вид, что ничего не произошло. Бабушка суетится, дедушка молчит, и оба избегают смотреть мне в глаза.

К вечеру, когда я выхожу во двор, набегают тучи. Они приходят с запада — тёмные, тяжёлые, будто кто-то сдвинул на небо гору. Ветер поднимается, треплет листья на дубах, и воздух становится густым, наэлектризованным. Пахнет пылью, полынью и чем-то ещё — сладковатым, будто где-то далеко, за полями, уже льёт дождь. Всё вокруг затихает — птицы смолкают, кузнечики прячутся, и даже трава будто пригибается к земле. Небо становится лиловым, потом сизым, и в этом сизом свете всё кажется нереальным, будто нарисованным.

Я иду через двор к Саше. Трава мокрая от первых капель, и они падают на лицо, на руки, на плечи. Я не спешу. Мне почему-то кажется, что если я приду к нему сейчас, под этими тучами, в этом странном свете, — то всё будет иначе. Что он поймёт. Что он ответит. Что он объяснит мне то, чего я не понимаю. По крайней мере, я на это надеюсь.

Вот его двор. Всё тот же строительный беспорядок: брус, доски, куча песка, леса у стены пристройки. Пристройка уже почти готова — стены выведены, осталась только крыша. Над ней висит фонарь, и в его свете брус кажется золотистым, а тени — длинными, тянущимися через весь двор. Пахнет деревом, смолой и чем-то ещё, тёплым, живым.

Саша стоит у конуры и насыпает Биму корм. Бим крутится у его ног, виляет хвостом, и я слышу, как Саша что-то ему говорит — тихо, по-доброму, будто разговаривает с ребёнком. Потом он поднимает голову и видит меня.

И вздыхает. Тихо, едва слышно, но я замечаю. И смотрит на меня с грустью. Так, будто ему больно видеть меня здесь, под этими тучами, с этим вопросом в глазах. Будто он знает то, чего я ещё не знаю, и это знание тянет его вниз. Будто он хотел бы избавить меня от всего этого, но не может.

Он не спрашивает «ты как?». Он просто кивает — на крыльцо.

Мы садимся рядом. Крыльцо деревянное, старое, с перилами, и над нами — козырёк, под которым сухо. Тучи уже совсем низко, и первые капли стучат по крыше, по листьям, по песку. Пахнет дождём и мокрой землёй. Фонарь светит, и в его свете лицо Саши кажется мягче, чем обычно.

— Ты знал мою маму? — после недолгого молчания спрашиваю я.

— Да. Я был младше, но знал ее.

— Какой она была?

Он молчит. Дождь стучит по крыше, и в свете фонаря его лицо кажется задумчивым, будто он смотрит не на меня, а куда-то далеко — в прошлое, куда мне нет доступа.

— Очень красивой… — говорит он наконец. И замолкает. Так, будто это слово — не всё, что он хотел сказать. Будто за ним стоит что-то ещё. Что-то, чего он не говорит.

Я жду. Он тоже молчит. Потом добавляет, тише:

— Красивой… и другой. Не как все.

И снова замолкает. А я смотрю на него и чувствую, что за этим «другой» скрывается что-то, чего он не хочет говорить. Что-то, что он помнит, но не хочет вспоминать. Или не хочет, чтобы помнила я.

— А мой папа?

— Вот его я не знал, — говорит Саша честно. — Видел пару раз. Он приезжал сюда на машине.

— Он был плохой? — спрашиваю я. — Мой отец?

Саша смотрит на меня. Долго.

— Я не знаю, — говорит он. — Правда не знаю. Я знаю только то, что говорили. Что он был из города, из тех, у кого за спиной было не всё чисто. Что твои бабушка с дедушкой были против. Но твоя мама не послушалась. А потом… — Он вздыхает. — А потом её не стало. И твоего отца тоже… В один вечер.

— А что произошло? — спрашиваю я. — Ты знаешь?

Он молчит. Долго. Потом говорит:

— Лена… твоя мама… умерла, даря тебе жизнь. Это ты знаешь. Это правда, так оно и было. А твой отец разбился. В тот же вечер. Пьяный за рулём.

Я сижу и чувствую, как внутри что-то сжимается. Пьяный за рулём. Вот, значит, как. Вот от чего он умер. Не просто умер — разбился. Пьяный. В тот же вечер, когда умерла мама. От горя, наверное. Или от чего-то ещё. Я не знаю. И уже

не узнаю.

Дождь усиливается. Капли стучат по крыше всё громче, и ветер задувает под козырёк, и я чувствую, как холодный воздух касается щеки. Саша сидит близко. Так близко, что я чувствую его тепло. И мне хочется придвинуться ещё ближе. Хочется взять его за руку. Хочется, чтобы он обнял меня и сказал, что всё будет хорошо.

Но он не обнимает. Просто сидит рядом. И этого достаточно. Пока достаточно.

— Прости меня, — говорит он вдруг. — Я не должен был… Ты не должна была узнать об этом вот так.

Я поднимаю на него глаза. Он смотрит на меня, и в его взгляде столько вины, будто это он виноват во всём, что случилось много лет назад.

— Всё в порядке, — говорю я. И это правда. — Правда, Саш. Спасибо, что сказал.

— За что спасибо? — Он хмурится. — За то, что я тебе всё это вывалил?

— За то, что не стал врать. — Я пожимаю плечами. — Я хотела знать. Ты сказал. Всё честно.

Он молчит. Смотрит на дождь, который стучит по крыше, и на его лице всё ещё эта грусть. А я сижу рядом и думаю: что было, то было. Мама умерла, отец разбился, и я никогда их не узнаю. Никогда не увижу. Никогда не спрошу. Это больно. Но это уже случилось. Давно. Без меня. И я не могу это изменить.

Зато у меня есть бабушка и дедушка. Есть Саша. Есть дом, двор, Баобаб, Бим, Зорька. Есть целый мир, который я знаю и люблю. И это — главное. Всё остальное — просто прошлое. Чужое прошлое, которое теперь стало немного моим. Но оно не определяет меня. Я — это не только то, что случилось с моими родителями. Я — это ещё и то, что я делаю сейчас. С кем я сейчас. Зря бабушка с дедушкой переживают, что я повторю мамину судьбу. Этого не произойдет.

— Слушай, — говорю я, чтобы сменить тему. — А как же грузовик? Ты же говорил, что хочешь починить его до дождя. А дождь уже идёт…

Он усмехается — коротко, будто благодарный за то, что я увела разговор в сторону.

— Эти тучи разбегутся, — говорит он уверенно. — Я знаю. Они не сюда идут. А вот завтра, скорее всего, будет ливень. Так что надо успеть. Не хочу, чтобы стройку заливало. А пока нет крыши, нужно натянуть кровель. Я планировал сделать его за сегодня. Думал, управлюсь, а там ещё возиться и возиться. Завтра с утра продолжу. Если до обеда не справлюсь — пойду к твоему деду, попрошу его универсал.

Я смотрю на него. На его руки, на его лицо, на то, как он смотрит на небо — спокойно, уверенно, будто читает его, как книгу. И думаю: он знает. Он знает больше, чем я. Обо всём. И я хочу быть рядом с ним. Хочу, чтобы он всегда был рядом. Чтобы я могла спрашивать его обо всём — и он отвечал.

И тут я замечаю, что дождь стихает. Сначала редеет —

капли падают реже, потом совсем перестают стучать по крыше. Ветер, который весь вечер трепал листья и задувал под козырёк, тоже унимается. И становится тихо. Так тихо, что слышно, как где-то далеко, за полями, ещё громыхает гром, но уже лениво, будто ему тоже надоело.

Небо светлеет. Тучи расходятся, и в просветах проглядывает синева — тёмная, вечерняя, но всё же синева. И воздух становится чистым, свежим, будто его вымыли дождём. Пахнет мокрой землёй, травой и чем-то ещё, сладковатым, вроде бы сирени, которая уже отцвела, но всё ещё помнит, как пахнуть.

Мы еще сидим какое-то время в тишине. Затем он поворачивается ко мне и смотрит на меня — долго, внимательно, и в его взгляде что-то такое, чего я не могу разобрать. Потом он улыбается — и говорит:

— Иди домой, Надя. Уже поздно.

И я ухожу.

Глава 6

Надя

Утром пасмурно. Небо затянуто серым, ровным покрывалом из туч, будто кто-то натянул на него старую простыню. Солнца нет, и от этого всё кажется чуть приглушённым, будто мир ещё не проснулся до конца и никак не решит, начинать день или ещё полежать.

Саша с самого утра ковыряется в грузовике. Я слышу его ещё из дома — стук, звяканье, иногда его голос, что-то бормочущий себе под нос. Он под машиной, и когда я подхожу, видны только его ноги в старых ботинках да край куртки.

— Доброе утро, — говорю я.

Он высовывается из-под грузовика. Лицо у него перепачкано, на лбу — полоска грязи, волосы растрёпаны. Он улыбается — коротко, но тепло.

— Доброе. Если ты пришла помочь мне, то навряд ли у тебя получится, — шутит он.

— Да нет, — улыбнувшись, говорю я. — Пришла узнать, как успехи.

Он вздыхает и вытирает руки о тряпку.

— Да никак. Думал, стартер. Поменял. А он всё равно не схватывает как надо. Такое чувство, что топливо не идёт. Может, насос. Может, что-то ещё. Пока не понял.

— А это долго?

— Если насос — полдня. Если что-то серьёзнее — не знаю. — Он смотрит на небо и хмурится. — И дождь некстати.

Я тоже смотрю на небо. Тучи собираются — тяжёлые, низкие, и ветер поднимается, треплет листья на деревьях.

— Сегодня будет дождь, — говорит Саша. — И не один день. Дня три, может, четыре.

Я киваю. А потом вспоминаю вчерашний вечер. Как мы сидели на крыльце и он сказал, что тучи разбегутся. И они разбежались. Я тогда подумала — надо же, как он чувствует.

— Саш, — говорю я. — А откуда ты это знаешь?

Он смотрит на меня — секунду, — а потом усмехается.

— Я прогноз смотрел. — Он поднимает бровь. — Ты что, думала, я с облаками разговариваю?

Я чувствую, как вспыхиваю. До корней волос. Вот дура. Ну конечно, прогноз. А я-то, как маленькая, решила, что он и правда чувствует погоду. Как дедушка, который говорит: «К вечеру дождь будет, кости ломит».

— Ну да, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Логично.

Он смеётся — негромко, по-доброму, — и возвращается к грузовику.

— Слушай, — говорит он, снова высовываясь. — Я, наверное, сегодня не починю.

У меня внутри что-то обрывается. Грузовик. Его грузо-

вик. Тот самый, серый, видавший виды, на котором он ездит с восемнадцати лет. Тот, который для меня — часть его самого.

— Как не починишь? — говорю я, и голос звучит почти жалобно. — Ты же говорил…

— Говорил, что починю. И починю. — Он вытирает руки. — Просто не сегодня. На это больше времени уйдёт, чем я думал. Надо запчасть ждать, или разбирать сильнее. В общем, не успею до дождя. — Он вздыхает. — Придётся у твоего деда машину просить. Как думаешь, он не будет против?

— Не будет, — говорю я. — Дедушка никуда сегодня не собирался. К тому же он тебе доверяет.

Саша кивает. А я стою и думаю: а ведь если он поедет в город на дедушкиной машине, то… И тут мне в голову приходит мысль. Робкая, несмелая, но такая заманчивая, что я не могу её не озвучить.

— Саш, — говорю я. — А можно я с тобой поеду?

Он молчит секунду. Смотрит на меня — внимательно, будто взвешивает. А потом пожимает плечами:

— А почему нет? Поехали.

И у меня внутри всё вспыхивает. Так, что я боюсь — он увидит. Боюсь, что лицо выдаст меня с головой.

— Я сейчас, — говорю я. — Я быстро. Пойду дедушке скажу.

— Не торопись, — останавливает он меня. — Может, я ещё управлюсь. Вдруг произойдет чудо?

Но чуда не происходит. К обеду Саша всё ещё под грузовиком. А потом он вылезает, вытирает руки и идёт к нашему двору. Я вижу из окна, как он говорит с дедушкой. Дедушка кивает, что-то отвечает, машет рукой — мол, бери, конечно.

Меня удивляет, как легко они меня отпустили. Я ждала, что бабушка с дедушкой начнут отговаривать, сомневаться, может, даже запретят — а они не возражали. Будто так и надо. Будто доверяют Саше даже больше, чем я думала.

И вот, мы выезжаем из деревни. Саша за рулем, я сижу рядом, на пассажирском сиденье дедушкиного «Пробокса», внутри которого пахнет далеко не так приятно, как в Сашиной машине и сиденья тут гораздо жестче, но я не замечаю этого, потому что привыкла.

Мы катимся с бугра — медленно, плавно, — и внизу открывается долина. Та самая. Бесконечная, зелёная, с полями, которые уходят куда-то далеко, к самому горизонту. В пасмурном свете она кажется не зелёной, а серебристой, будто кто-то посыпал её пеплом. А за полями, словно на самом краю света, — город. Он далеко, но от сюда его видно. Огоньки не горят — день, — но силуэты зданий угадываются, и кажется, что это не город, а что-то нарисованное, декорация. Город N — далеко. Около шестидесяти километров от нас. Его видно с нашей деревни только потому, что она на сопке. А так — ехать и ехать.

Мы выкатываемся на магистральную дорогу. Она шире, ровнее, и машина идёт по ней по-другому — быстрее, уве-

реннее.

Саша тянется к магнитоле — встроенной, старой, с крутилками и маленьким экранчиком, — и начинает щёлкать, листая волны. Радио шипит, ловит обрывки песен, обрывки новостей, снова шипит. Я смотрю на его руку, на пальцы, которые крутят колёсико, и думаю: в «Вероссе» всё иначе. Там музыка играет с телефона, через блютус, и салон наполняется звуком так чисто, будто ты в концертном зале. А тут — шипение, помехи, и чтобы поймать нужную волну, надо крутить и крутить. Всё по-простому, по-дедовски: меньше кнопок — меньше ломается.

— Вот, — говорит Саша, останавливаясь на какой-то песне. Современная попса — ритмичная, с электронными битами и голосом, который то взлетает вверх, то падает вниз. Он слушает секунду, потом косится на меня.

— Молодёжь сейчас такое слушает?

Я пожимаю плечами.

— Не знаю. Наверное.

— А что *ты* слушаешь?

— Разное. — Я задумываюсь. — Ну… больше всего люблю песни про любовь… — неожиданно для самой себя признаюсь я.

Саша кивает — серьёзно, без усмешки.

— Понял. Мне тоже нравятся песни про любовь, — признается он и почему-то его признание удивляет меня даже больше, чем свое собственное. — На следующем занятии

включишь у меня в машине свой плейлист. Послушаем вместе.

Я замираю. Внутри что-то обрывается и летит куда-то вниз, а потом подскакивает обратно.

— Договорились, — говорю я.

А сама думаю: нет. Нет-нет-нет. Если я включу ему свой плейлист, он всё поймёт. Потому что все песни, которые я слушаю, — про него. Каждая. Про то, как я его жду. Про то, как он не замечает. Про то, как я мечтаю, что однажды он посмотрит на меня иначе. Если он услышит эти песни, он поймёт. Он всё поймёт. И я не знаю, готова ли я к этому.

Но я всё равно киваю и улыбаюсь. Потому что он предложил. Он сам предложил. И ему тоже нравятся песни про любовь… И я позволяю себе помечтать — всего на секунду. Может, и он, слушая такие песни, думает о ком-то? Может, и у него есть та, о которой он мечтает, когда в его машине играет музыка? И может — я знаю, это глупо, но я всё равно думаю — может, эта кто-то я?

А потом я думаю — может и к лучшему, если он послушает мои песни и все поймет? Поймёт, что я чувствую, что я хочу сказать, — и тогда мне не придётся подбирать слова, не придётся бояться, не придётся ждать дня рождения. Это было бы такое облегчение. Просто включить музыку — и пусть она скажет всё за меня.

Я представляю это так ясно: вот мы едем, играет песня, он слушает — и вдруг замолкает. Смотрит на меня. И в его гла-

зах появляется что-то новое. Понимание. И он говорит: «Надя, я не знал». Или: «Надя, я тоже». Или что-нибудь ещё. Что угодно. Главное — мне не придётся произносить это вслух.

А пока играет песня, которая мне не особо нравится. Что-то быстрое, громкое и слова про вечеринку, про танцы, про то, как хорошо быть молодым и свободным. Я слушаю и киваю в такт, потому что Саша смотрит, и потому что не хочу показаться занудой. Но про себя думаю: нет, это не моё. Моё — это про любовь. Про то, как сердце сжимается. Про то, как ждёшь кого-то, а он не идёт. Про то, как однажды он всё-таки придёт и вы будете счастливы.

Мы проезжаем мимо других деревень. Маленьких и побольше, мимо Покровского — того самого, где моя школа. Я смотрю на знакомые улицы, на здание школы, которое видно с дороги, и вспоминаю.

Как я ездила сюда на школьном автобусе — одна из своего села, потому что в Высоком больше не было детей. Как я познакомилась здесь с девчонками — первыми друзьями в моей жизни. Как оказалось, что в других деревнях тоже нет школ, и детей оттуда тоже возят сюда, в Покровск. И как я поняла, что не одна такая. Что нас много — тех, кто живёт в маленьких деревнях и ездит учиться в большое село.

Глядя на тополя, за которыми виднелись знакомые улицы и здание школы, меня накрывает тоска. Целых одиннадцать лет я ездила по этой дороге — туда и обратно, каждое утро, каждый день. И они прошли незаметно. Я не успе-

ла оглянуться, а уже выпускной, уже восемнадцать, уже надо решать, куда идти дальше. Я буду скучать по школе. По коридорам, по звонкам, по учителям, по девчонкам, с которыми мы делили парты и секреты. И я так надеюсь — так сильно надеюсь, — что наша дружба не оборвётся. Что мы не разбежимся, как это часто бывает, кто куда. Что будем звонить, писать, встречаться. Что школа останется не просто воспоминанием, а чем-то, что свяжет нас на всю жизнь.

— Скоро выпускной, да? — спрашивает Саша, не отрывая глаз от дороги, словно прочитав мои мысли.

— Угу, меньше, чем через две недели, — говорю я и внутри всё сжимается. Потому что выпускной — это не просто выпускной. Это мой день рождения. Это тот самый день, когда я скажу ему всё. Наконец. После стольких лет. — На днях поедим покупать платье для вечера…

И внутри вдруг вспыхивает — ярко, неожиданно, как звездочка в еще светлом небе. А что, если он придёт на мой выпускной? Может, он даже скажет мне что-то важное. Что-то такое, от чего у меня внутри всё перевернётся. Может, он скажет: «Надя, ты сегодня такая красивая». Или: «Надя, я давно хотел тебе сказать…»

Я не говорю этого вслух. Не прошу. Просто надеюсь — тихо, про себя.

— А экзамены? Сдала?

— Сдала. Хорошо.

— Молодец. А ты переживала. — Он улыбается. — А

дальше что? Куда собираешься?

И тут я запинаюсь. Потому что не знаю, что сказать. Точнее, знаю, но не хочу. Не хочу говорить правду — что я никуда не собираюсь. Что я не думала об этом. Что мне не хочется думать.

— Ну, есть пара идей… — говорю я.

— Ну понял, — он хмыкает с ноткой веселья и больше не спрашивает. И я ему за это благодарна. Потому что говорить об этом — всё равно что признаваться: я не хочу уезжать. Я хочу остаться. С тобой. И чтобы ты остался. И больше не уезжал.

Я скажу, но не сейчас. Через две недели. Всё ему скажу. Не через месяц, не когда-нибудь. Моё признание не где-то за облаками, а на расстоянии двух недель. Когда мне будет восемнадцать, когда у меня будет право говорить такое — я все ему скажу.

Мы едем по трассе, и музыка играет — та самая попса, которую Саша оставил. Я смотрю в окно, на поля и стараюсь сильно не краснеть от своих тайных мыслей, которые рядом с ним нередко бывают слишком — слишком — смелыми…

А потом деревни и поля заканчиваются.

Сначала это происходит незаметно. Просто полей становится меньше — они перемежаются с лесополосами, потом появляются первые вывески, заправки, какие-то склады за заборами. Дорога расширяется, превращается в две полосы, потом в три. Машин становится больше — сначала редкие,

они проносятся мимо, потом всё чаще, чаще, и вот уже мы едем в потоке, и я вцепляюсь в сиденье.

Здания становятся всё ближе. Сначала это какие-то ангары, склады, гаражи — серые, низкие, будто прижатые к земле. Потом появляются дома повыше, магазины, вывески. И вот уже по обе стороны дороги — сплошные стены, окна, балконы. Люди идут по тротуарам. Машины сигналят. Светофоры мигают.

Наконец мы въезжаем в город. Мы ездим в него не часто — не больше пары раз в год. И каждый раз он кажется мне чем-то огромным, шумным, чужим. В детстве я представляла его сказочным королевством — с башнями, с музыкой, с балами. А он оказался другим. Просто город. Большой, серый, с машинами и вывесками. И я вспоминаю свои детские фантазии с иронией. Ну какие башни? Какие балы? Вот они, башни — серые коробки с окнами. Вот они, балы — пробки на дорогах.

Но принца я никогда себе не представляла. Никогда не мечтала, что он приедет на белом коне и увезёт меня в далёкое королевство. Мне этого было не нужно. У меня был свой сказочный мир и в этом мире уже был тот, кто мне нужен. Он сидит сейчас за рулём дедушкиного «Пробокса», хмурится, следит за дорогой, и я смотрю на него и думаю: вот он. Только без короны и без коня. Зато с молотком и с грузовиком. И мне не нужен другой.

С того момента, как мы въехали в город у меня начала

кружиться голова от большого количества машин. Их здесь слишком много. Они едут в несколько рядов, сигналят, перестраиваются, летят на красный… Я не понимаю, как Саша может так спокойно чувствовать себя за рулем в такой обстановке. Как он успевает следить за знаками, за светофорами, двигаться в этом сумасшедшем потоке… И я говорю:

— Когда я получу права, то ни за что не поеду в город. Тут же… тут же сумасшедший дом какой-то. Они все куда-то спешат, подрезают друг друга…

— Сможешь. Научишься. Тут главное — не бояться. И не спешить. И смотреть в оба.

— Что-то мне слабо в это верится…

Саша смеется.

— Слабо ей верится. Вот увидишь. Через год будешь тут рассекать, как заправский водитель. И ещё меня подкалывать будешь, что я медленно езжу.

В его глазах пляшут смешинки. И я смотрю на него и думаю: вот бы и правда. Вот бы через год. Вот бы вместе.

Мы не едем в центр. Сворачиваем куда-то в сторону, в промышленный район — здесь дома ниже, улицы шире, и машин меньше. Саша сворачивает на какую-то базу за забором. Я вижу вывеску — «МонолитЦитадель». Название знакомое. Я его точно где-то слышала. И тут же вспоминаю: по телевизору. Реклама начинается с музыки — такой бодрой, маршевой, будто сейчас начнётся парад. На экране — стройка: краны, каски, рабочие в оранжевых жилетах, и всё это

так красиво, будто не стройка, а съёмки фильма. А потом появляется мужчина в костюме — солидный, с уверенным лицом, — и говорит: «МонолитЦитадель» — строим будущее на века. Только проверенные материалы. Только надёжные решения. Только для тех, кто выбирает лучшее.

И в конце — логотип: камень, на котором стоит крепость, и надпись крупными буквами.

Он изображён на огромном плакате, растянутом над воротами: тот же камень, та же крепость, те же крупные буквы — «МонолитЦитадель». Плакат такой большой, что его видно, наверное, с другой стороны дороги. И под ним, чуть ниже, ещё одна надпись помельче: «Строительные материалы от производителя. Оптом и в розницу».

Тут, на площадке, горы пеноблоков, сложенных штабелями, поддоны с кирпичом, рулоны чего-то ещё. Я не особо обращаю на них внимание, потому как занята рассматриванием логотипа. Он выглядит… впечатляюще.

Саша паркуется. Глушит двигатель.

— Приехали, — говорит он. — Пошли.

Мы выходим. Я иду за ним к торговой части базы, где за стеклянными дверями видны люди, полки, стойки.

Мы заходим внутрь, и я на секунду замираю на пороге. Помещение огромное — потолки высокие, как в ангаре, и всё вокруг заставлено, завалено, увешано строительным материалом. Панели стоят рядами, длинные, блестящие, похожие на гигантские книги. Трубы лежат в специальных стел-

лажах — серые, белые, рыжие, разного диаметра. Мешки с чем-то сыпучим громоздятся в углу. Пахнет пылью, металлом и чем-то ещё, свежим, вроде бы краской.

Саша идёт уверенно, будто здесь всё знает. Я семеню за ним, верчу головой по сторонам и стараюсь не отставать.

— А это что? — спрашиваю я, показывая на длинные рулоны в упаковке, возле которых мы останавливаемся.

— Андутис, — говорит он. — Кровельный материал. Им обшивают крыши, навесы, пристройки. Вот мне как раз для этого.

— А зачем обшивать?

— Ну, я ведь построил пристройку из бруса. А брус — он живой. Дышит, двигается, садится. Если его не закрыть, он начнёт впитывать влагу. Дождь, снег, конденсат — всё это уходит в дерево. А потом солнце его сушит, и оно трескается. Сначала мелочь, потом глубже, потом вообще пойдёт по швам.

Я смотрю на него, и он продолжает, будто читает лекцию:

— Плюс ультрафиолет. Брус без защиты сереет, темнеет, потом плесень может пойти. А мне не надо, чтобы через два года пристройка выглядела как старая баня. Ну и усадка. Дом ещё сядет, а обшивка, если её прикрепить неправильно, перекосится или порвётся. Поэтому делают вентилируемый фасад — обрешётку, мембрану, зазор. Тогда брус под обшивкой сохнет, а не гниёт. Кроме того, мне ведь нужно сделать временную крышу, пока не встанет настоящая. Что-

бы пристройку не заливало. Это прежде всего. Поэтому я спешу сделать это до дождя.

Я смотрю на него — на его руки, которые держат рулон, на его лицо, сосредоточенное и спокойное, и думаю: надо же. Он всё это знает. Не просто знает — понимает. Чувствует дерево, чувствует, как оно будет себя вести через год, через два. Он не просто строит — он думает наперёд. И руки у него золотые. Дедушка всегда так говорит про мастеровых людей — «руки золотые». И про Сашу он тоже так говорил. А я тогда не понимала. А теперь понимаю. Стою и смотрю, как он проверяет этикетки, как разворачивает край рулона, как щупает материал, — и понимаю.

— А почему именно здесь? — спрашиваю я.

— Потому что только в этой сети хороший андутис. Я пробовал другой — рвётся через год. А этот держится. — Он усмехается. — На то она и «МонолитЦитадель». Строят на века, продают на века.

Мы подходим к столам, где сидят менеджеры. За одним из них — девушка, молоденькая, с усталым лицом и бейджиком на груди. Саша говорит ей:

— Мне два рулона андутиса. Того, что в синей упаковке.

Она поднимает на него глаза — и вдруг виновато поджимает губы.

— Извините, — говорит она. — Я не могу вам это продать. За этот товар отвечает менеджер. А он… — она запинается, — опаздывает.

— Опаздывает? — переспрашивает Саша. — И надолго?

— Не знаю. — Она пожимает плечами. — Мне сказали ничего не делать за него. — Она произносит это как-то странно, и я замечаю, что она косится на пустующее место рядом с собой. — Подождите немного, пожалуйста. Он новенький, постоянно опаздывает.

Саша бормочет себе под нос что-то неразборчивое. Я разбираю только «чёртовы новенькие» и ещё пару слов, которые не стоит повторять.

— Ладно, подождём, — говорит он вслух.

Мы отходим в сторону. И тут же за нами образуется очередь — люди с тележками, с бумажками, с какими-то накладными. Все что-то спрашивают, все ругаются, все ждут. Девушка за столом разводит руками и повторяет одно и то же: «Менеджер опаздывает, подождите, пожалуйста».

И тут какой-то мужчина в рабочей форме заходит и громко спрашивает:

— Чей белый «Пробокс»? Он выезд загораживает! Техника не проедет!

Саша снова ругается — тихо, но я слышу. Потом поворачивается ко мне и суёт ключи.

— Надя, — говорит он. — Сможешь перепарковать, а? Я тут останусь, мне всё равно надо будет объяснить, какой именно андутис нужен. А то опять не тот принесут. Не хочется потерять место в очереди, когда этот *новенький* появится.

Я беру ключи, сжимаю их в кулаке и чувствую, как внутри

всё сжимается.

— Я… — Я запинаюсь. — А если я не справлюсь?

— Справишься, — говорит Саша уверенно. — Ты же парковалась у моего грузовика. А тут — просто отъехать. Ничего сложного.

Я киваю. Но не двигаюсь с места. Мне хочется сказать ему, что я боюсь. Что я боюсь не машины — а того, что подведу его. Что он доверил мне ключи, а я вдруг возьму и не справлюсь. И он посмотрит на меня с разочарованием. Или, что хуже, с жалостью.

— Надя, — говорит он мягко. — Всё в порядке. Просто отъехай в сторону и всё. Я буду здесь. Никуда не денусь.

И я иду. Через магазин, мимо стеллажей, мимо очереди, мимо мужчины в рабочей форме, который стоит и ждет, когда кто-то из присутствующих выдвинется на его реплику и отгонит машину. Я иду к выходу и чувствую, как ключи в моей руке становятся всё тяжелее.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.